



Эрве Гибер

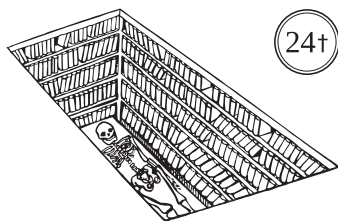
МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Перевод Алексея Воинова



Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



Hervé Guibert
Mauve le vierge

*В оформлении обложки использована фотография Эрве
Гибера «Автопортрет в музее восковых фигур», 1978*

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка и верстка: Ольга Сазонова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков
Корректор: Кирилл Путресцинов

***Благодарим Сергея Воронцова
за помощь в издании этой книги***

ISBN 978-5-98144-196-7

© Editions Gallimard, Paris, 1988

© Kolonna Publications, 2014

© Алексей Воинов, перевод, 2014

*Матьё Пиэ́йру*¹

¹ Матьё Пиэ́йр (Mathieu Pieyre), близкий друг Эрве Гибера, помогавший ему ставить пьесу по роману «Слепые» (здесь и далее – прим. перев.).

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

6 Как-то вечером Мальва танцевал с толстой женщиной; прижимаясь к ней, он всем телом чувствовал сквозь одежду колеблющееся и подрагивающее брюхо, сотрясаемое, словно волнами, танцем и походившее на зыбкое месиво, мнявшее его, будто при морской качке, в то же время женщина всем телом ощущала его худобу.

Мальва увидел ее спустя несколько лет, он позабыл, под какую мелодию они танцевали медленный фокстрот, но во всех деталях вспомнил ощущение обволакивающей, наваливающейся плоти. Впрочем, воспоминание уже не имело никакого отношения к реальности, ибо женщина за это время похудела, стремясь соблазнить его – его или кого-нибудь другого, – жир исчез, оставив на животе и ляжках складки обвисшей кожи, а умелый хирург их отрезал. Мальва смотрел на женщину добродушно, испытывая благодарность. Глядя на ее теперешнее тело, выставленные напоказ глубоким декольте точеные плечи, он счел себя хранителем тайны, являвшей его взгляду стать мейстерзингера. Женщина, бывшая, собственно говоря, оперной дивой, с особым старанием уничтожила все снимки, на которых была толстой. Но Мальва сохранил воспоминание о былой тучности, запечатленной его собственным телом: достаточно было лишь явить миру свою худобу,

и в ней, будто в зеркале, отразятся телеса женщины, которую он однажды обнял.

Мальва сдружился с кусочком шерстяной материи, слишком неловко связанной и бесформенной, чтобы служить шарфом (а платок вышел бы из него даже смешным, ибо петли были сплетены из ангоры, которая лишь усиливала насморк), и хранил его в шкатулке, спрятанной в глубине шкафа, словно сокровище, которое он доставал каждый вечер, оставшись один и выключив свет из страха, что соседи заметят его сквозь жалюзи. Он разговаривал с этим лоскутком. Он бы охотно помечтал о перчатках или трусиках, но мечта эта была слишком тайной, слишком сильной и слишком нелепой, чтобы представить, что на земле есть руки, согласные выполнить для него эту работу, если бы однажды его просьба прозвучала вслух. Нет, не было ни перчаток, ни приносящих наслаждение шелковистых трусиков, был всего лишь лоскут, жалкая ветошь, которую он всякий раз неистово пачкал.

7

Другая женщина дала Мальве гвоздь и сказала: храни его, он принесет удачу, – и Мальва сразу же понял, что этот гвоздь к несчастью. Как то, что пронзило ладони и ступни Христа, может принести счастье? Он сразу же ловко и незаметно выронил гвоздь, беззвучно избавившись от него, – тут он проявил искусство фокусника, ибо гвоздь должен был сразу зазвенеть в водосточном желобе.

В этот вечер, в пятьдесят первый раз за свою жизнь (сам он эти разы не считал, но его биограф способен узнать число) Мальва вернулся в Лас-Вегас и принялся гоняться за собственной тенью;

обычно его дни здесь проходили в немом созерцании. Никто не знал его имени, а он с жадностью смотрел на лица и терпеливо ожидал событий, слов, потасовок, занимая одно и то же место в заставленном игральными автоматами зале, будто пешка, оказавшаяся в центре бильярдного стола, и каждый раз, пресытившись, уходил один. Впервые он решился сделать шаг вперед и заговорил с одним юношей. Турок сказал, что его зовут Али, он солгал, принялся хрустеть суставами пальцев и произнес: я умею хрустеть всеми частями тела, ты мне заплатишь? На улице юноша смолк. Как только они зашли в квартиру Мальвы, юноша разделся и лег на кровать. Он расставил пальцы ног веером и поочередно хрустнул каждым из девяти, один был утрачен из-за несчастного случая. Затем ночь наполнила тишину, Мальва не приближался к кровати. Юноша поднялся и со всей силой обхватил с левой стороны голову, будто собираясь ее оторвать, напрягся, и прозвучала единственная нота хрустнувшей шеи. Вслед за этим он начал хрустеть руками, предплечьями, затем ногами, в коленях и в бедрах, запястьями, плечами, лопатками и, наконец, лодыжками, каждая нота при этом оказывалась иной и порядок представления, казалось, был установлен заранее. Все эти резкие звуки крайне коробили слух Мальвы, вызывали такое же отвращение, что и запах паленой плоти, однако этот шум провоцировал волнение в бедрах и распалаял низ живота, он не успел раздеться и стоял на прежнем месте, не подходя к кровати, вокруг снова была тишина. Юноша нашел привычную опору, полностью выпрямил хребет, замер и через несколько секунд издал дивную руладу, переливистые раскаты позвоночника, прерванные судорогой. Мальва подумал

об игре слов, сказав себе: прямо кость в сердце!¹ – но, не успев произнести этого вслух, почувствовал, как трусы намокают от спермы. Юноша притворился, что ничего не заметил, он повернулся на живот и сказал Мальве: «Сделай милость! Сними башмаки, я не возьму денег». Мальва снял башмаки и носки, турок попросил пройти по его спине и застонал от удовольствия. Дело было сделано, и юноши сразу расстались.

9

Квадратный двор, в середине – нечто черное, враждебное, недоделанное, хотя и находится в центре города, там ютятся огромные крысы, что легко вопьются в пальцы ног или ляжку случайного прохожего или одного из подлецов, которые приходят сюда и пакостят. Косой луч тусклого света проходит по двору и выхватывает вдалеке едва различимое недвижимое пятно разукрашенной ткани (есть столько способов разукрасить ткань!), выдающее вдалеке под навесом присутствие насторожившегося человека. Единственный луч исходит из пристройки охранников, она совсем обветшала, и в такой час невозможно узнать, спят они и существуют ли вообще, может быть, это всего лишь свет фонаря. На улице Мальва шел за одним субъектом, такое случилось с ним в первый раз, но после вечернего приключения с турком этот девственный юноша набрался смелости (от одного эпизода к другому он будет становиться моложе). На субъекте матросский свитер в бело-голубую полоску, он уже заметил, что Мальва за ним следит и, прежде чем свернуть во двор, обернулся в последний раз, и Мальва не знает, это знак одобрения

1 «Прямо кость в сердце!», в оригинале – *Quelle os-tentation!* – слово *os* означает «кость», *tentation* – «искушение, соблазн», а все вместе – *ostentation* – «хвастовство».

или угрозы. А тут, в глубине двора, который он пересекает, стоит тот самый поджидавший его парень, и на нем такой же полосатый свитер; однако, парень меньше ростом, он не может быть братом-близнецом. Мальва неуверенно подходит ближе, и субъект отстраняется от того парня, набрасывается на Мальву, теперь уже точно с угрозами. Он обращается к Мальве, даже не стараясь говорить потише, ибо тот, второй, теперь уже слишком далеко и не слышит, он тянет Мальву за рукав в сторону улицы, произнося: я встречусь с тобой в любой вечер, в любое время, но не сегодня, уходи, оставь нас, или я размозжу тебе голову, видишь дубину у меня под мышкой? Но Мальве хотелось дотронуться до юноши именно в этот вечер, и он знал, что в другой вечер, в иное время он о нем позабудет. И вот он стоит на улице, один, у него развязался шнурок, но, поскольку теперь он знает, что все это сон (в одном из эпизодов он уже умирал, все это творится несколько недель кряду, и по ночам он чувствует в своем теле присутствие автора), он не удосуживается наклониться и завязать; из-за шнурка, развязавшегося во сне, нельзя упасть на самом деле. Так вот, он лжет: у него не было башмаков, вполне возможно, что он вообще ходил босиком, тем не менее, все темное пространство, которое нужно было пройти несколько секунд назад, и валявшиеся там острые осколки его не волновали. Теперь он грезит, продумывая план, как рассказать эту историю, пять часов утра, он пробуждается от тяжелого сна после снотворного (оно должно унимать покалывание в боку и непреодолимое желание) и, если бы он встал, было бы слишком холодно писать. Части истории мешаются в другом, уже более привычном сне и стираются. История исчезает.

Постарев, как и другие люди, Мальва отправился в пустыню. Он не заходил в Гардаю, город с синими домами. Прихватив спальный мешок, он ушел прочь от кочевья, так как ненавидел местных жителей, и остановился, как ему показалось, прямо под луной. В марте змеи и скорпионы еще прятались в гнездах, но все же он обмотал ноги пластиковыми пакетами, ему сказали, что жалящие человека ядовитые твари, влекомые запахом ног, впиваются во влажные носки. Когда луна на небе исчезла, он все еще спал, он видел перед собой четырех пёль-бороро¹, двух девушек и двух юношей, видел, как они странно совокуплялись, и от пролившегося на живот семени было холодно. Наутро кочевье оказалось порушенным, он разорвал пластиковые пакеты, чтобы нечем было защититься, встретил на пути одного пёль-бороро, кланчившего воды для ребенка, – немецкие джипы не останавливались, – человека, который следовал той же дорогой, что и он, и смастерившего некую шутовину, дабы колеса могли ехать в песке, сумасшедшего, показавшего ему доллар, который он хранил в кармане, чтобы водилась мелочь, другие безумцы говорили, что у него – загнивший конголо², и Мальва спросил себя, в каком состоянии его собственный. Мужчины из кочевья готовили еду, он же постоянно бежал от них прочь, его ненависть казалась ему самому удивительной, он никогда не чувствовал ее с такой силой, она порождала желание убивать, он путешествовал с фотоаппаратом. Он шел до тех пор, пока не увидел гору, напоминающую расческу: земля эта не была описана или отмечена на картах,

1 Африканское кочевое племя.

2 Древесный плод, напоминающий мужские гениталии.

а слишком большая расческа годилась только для того, чтобы распутывать волосы богинь. Расческа скрывала кавардак многочисленных оползней, воспламененных позади солнечными завитками, из-за слепящего света он не мог ничего снять на пленку. И здесь, пока в Японии биотехнологи выводили гигантских крабов, ускоряли рост цыплят и создавали с помощью микробов и водорослей дьявольскую еду, Мальва принялся петь что-то совсем непонятное, отдаленно напоминающее бельканто. Он сказал себе, что однажды привезет сюда оркестр, певцов и публику. Его пения никто не слышал, но, если Бог где-то пребывал в этот момент, то не в имманентности, а почти в самой сердцевине Мальвы.

За год до рождения сына, нисколько не сомневаясь, что у него будет сын, отец Мальвы принялся писать фреску. Он очутился перед белой стеной, ниша в которой, казалось, обозначает место картины в раме; он привез из поездки в Польшу дешевый советский журнал по искусству, напечатанные там картинки ему нравились. Сам он не смог бы придумать сюжет не из-за отсутствия фантазии, – всякие идеи переполняли разум, – а потому, что рукам не хватало уверенности, он пользовался ими лишь для собственного удовольствия. Он брал различные предметы, работая по дому, и голова его тут же пустела, он становился одеревенелым, как официант. На что он был неспособен, – и точно об этом знал, – так это поднять на кого-нибудь руку или посадить на плечи ребенка, – тот бы сразу свалился. В его жестах была непорочность, вопреки воле резко отличавшая его от других в моменты, когда родственники обжигались, когда жена доброхотно расставляла перед

ним ноги: разум мутился, и пальцы этого, все-таки крепко сколоченного мужчины, становились как масло, как воск. Он выбрал одну картинку и принялся расчерчивать ее с линейкой, чтобы затем воспроизвести, сохранив пропорции, у него не было этого сложного механизма – пантографа, который может скопировать изображение, увеличив его; впрочем, он бы ему не понравился. Когда он приступил к росписи, у него начались лихорадка, бред, жар, длившиеся пять суток. Очищенная, отшлифованная, побеленная стена была покрыта начерченными простым карандашом темными линиями, квадратами, которые потом должна была заполнить краска. Советский журнал на подставке был раскрыт на странице с картинкой, линия сгиба делила репродукцию на две части, поперечная ей линия на стене не отображалась. Перед глазами представал горизонт, окаем песчаного берега, где вырисовывались силуэты трех человек, изображенных со спины и без одежды, с ними странно соседствовал взлетающий гидросамолет. На него указывала рука одного из сидящих, того, что справа; его огромная спина, казалось, была уродлива от рождения; и, когда копия была уже почти завершена, – ждать бы пришлось около недели, – можно было заметить узкую полосу, обозначающую лицо. Но у этого нарисованного на стене персонажа никогда не было ни глаз, ни рта; в детстве Мальва смотрел на него, ничего не подозревая, и аномалия, проходящая на что-то смутно знакомое, словно бы просочилась внутрь сквозь постоянно взирающий на нее взгляд, чтобы водвориться меж разумом и сердцем, будто в злой нише, пещере недомогания, и это наново прорисовывало или, скорее даже, вновь стирало внутреннее его существо, будто незрячий призрак

незавершенности. На шестой день тяжкого труда, – это пятно забирало все его силы, он не мог делать ничего другого, – когда на фреске без какого-либо обозначения плоти были прорисованы тени, отец Мальвы отправился за ящиком с красками, некоторые давно затвердели, и нужно было долго их растворять, дабы получить требуемую консистенцию. Лишь синие оттенки были хороши. Он их разбавил и, разумеется, принялся малевать пространство, занимаемое водой. Но синяя краска легла таким тонким слоем, что со временем исчез даже намек на то, что здесь когда-то была синяя роспись. Малыш Мальва, тем не менее, все эти годы видел здесь море, и было оно безгранично, на нем были волны, шторма и затишья, синь, всевозможные оттенки сини, затаенные беды. Мать вошла в ресторан, где отец – этот подлец-живописец – ужинал в одиночестве в Латинском квартале, и выстрелила ему в спину. Она знала, что, разведясь, лишится ребенка, она хотела оставить сына себе и с гордостью сделалась арестанткой. Она согрешила, и отец просил развода. Прежде, чем его убили, еще задолго до рождения Мальвы, этот человек отправился за темным ультрамарином, который затем долго растирал на палитре, море приводило его в отчаяние, но, добившись нужного оттенка, хотя тот и не соответствовал исходному образу, торопился положить его на фреску; не стараясь выравнивать краску, он клал ее большими неловкими мазками с правого края росписи, соблюдая границы, обозначенные скалами горизонта. А потом все забросил, краски начали сохнуть, застывать, два замочка на ящике, перепачканные маслом, слиплись, и он больше никогда к ним не прикасался. Женщина, ждавшая ребенка, часто твердила ему: тебе нужно закончить фреску,

ее нужно доделать прежде, чем он родится, иначе она будет его пугать, донимать. Однажды, видя, что он противится, она захотела закрасить стену белым, нарочно, прямо перед ним; захотела сделать это в ожидании ударов так медленно, словно провоцируя схватить ее за руку; и он яростно выкрутил ей руку, не издав ни единого возгласа, ничего не объяснив, не попросив прощения. Ребенок родился, и густая синь в углу возле скал не поддавалась пыли, солнечным бликам, тайным посягательствам губки. И эта бесполезная и обманчивая синь проникла в душу молчаливо и упорно созерцавшего ее ребенка. Посреди родительских препирательств, когда он старался куда-нибудь от них скрыться, во время всевозможных страданий юного сердца, после ругани и унижений, в болезненной горячке, в унынии Мальва обращался к этой фреске, даже не видя ее, – настолько стала она привычной, – и все же неистово всматриваясь в мельчайшие подробности явленной аномалии. Он вперялся в нее часами, он обожал ее, и он ее проклинал, она была его мольбой, его наперсницей, его подругой, его провожатым к мечтам, к неге, к томлению, к школьной лености, равно как к мощи воображаемых странствий, обманов. Он никогда не забывал, что ее измыслил отец, что все это вывела его рука, пусть он и расписался при этом в своем слабоволии, и Мальва подчинялся ей, словно железной хватке, огненной печати. Когда мать посадили в тюрьму, он остался один на один с фреской. Ему казалось, что женщина, то есть тетушка, которая готовила ему еду, стирала белье и просматривала школьный дневник, не существует, что это лишь марионетка, тогда как всей квартирой распоряжается фреска, душа его отца поселилась в коварной синева скалы и все видит.

Ему часто снилось или же виделось в мечтах, что он пачкает ее грязью, плюет в нее, выплескивает ведро с помоями, царапает ее длинными ногтями, которые не хотел стричь, каждый раз это был способ ее почтить, ей поклониться. Он ничего не понимал в рисунке, рука застывала над листом бумаги. Он думал, что кисточка, словно в ней живет демон, вместо того, чтоб рисовать домик или зверька, помимо его воли начнет заполнять пустые клетки фрески и вместо окон или шерсти животного примется вырисовывать глаза или рот на лице того, кто в ней обитал. Рука зависала, и его бил озноб, часто заставлявший рвать листок на клочки. Из-за подобных приступов тетушка освобождала его от выполнения заданий, она отвела его к психологу, который объяснил расстройство поступком матери. Мальва не испытывал тяги к путешествиям, перемещениям, фреска всегда олицетворяла для него побег, над картиной опускались сумерки, и он ясно видел, как три тела дрожат от холода, он хотел одеть их одеялом, дать им попить горячего, он не чувствовал особой связи ни с кем из них по отдельности, и никогда не давал им имен. Настал день, когда из-за болтливости тетушки он узнал, что отец не был автором фрески, что он просто скопировал ее и забросил. И Мальва лишь больше ее полюбил: непостижимым образом эти сведения только сблизили его с отцом. Однако он хотел отыскать оригинал, хотел сравнить его и, может быть, – сумасшедшая мысль, – дорисовать фреску, закончить. Отец спрятал журнал в глубине стенового шкафа, Мальва его отыскал, однако страница с картиной оказалась вырвана, уничтожена отцом Мальвы. От такого открытия он онемел, его охватила бесполезная, тупая злоба: синица вылетела из рук.

Когда он ел, он прикусывал внутреннюю сторону щек. В это время мать вязала ему в тюрьме фуфайки, которые он надевал раз в неделю, когда навещал ее. Через семь с половиной лет ее выпустили, и она написала книгу о преступлении, суде и тюрьме, она давала интервью, выступала по телевидению. Мальве должно было исполниться семнадцать. На улице он встретил знакомого матери и с восторгом побежал к нему, не в силах усмирить волнение, умоляя: мужчина его не узнал, Мальва просил вступиться за мать, чтобы прекратить показушную, унижавшую его шумиху. Но мужчина боялся этой женщины и, почувствовав посреди улицы мешавшее страху безрассудное влечение к юноше, бросил его на произвол судьбы. Мальва больше не глядел на фреску, он уже не мог, мать собиралась переехать, в глазах новых жильцов фреска должна была, скорее всего, сойти за пачкотню. Мальва с грустью думал о том, что единственное творение отца будет закрашено и заклеено пестрыми обоями. Мальва хотел уйти в море и записался в парусную школу. Там экспериментировали: каждый ученик отправлялся в море один, с ним был лишь инструктор. Оплачивавшие стажировку ученики должны были выбрать своего гида. Против одного из инструкторов, сидевшего в тюрьме, как говорили, за убийство, плелись интриги. Никто не хотел с ним плыть. Мальва открыто выступил против бесчестия (ведь его мать тоже недавно вышла из тюрьмы, где провела семь лет за убийство, он старался не упоминать, что она прикончила его отца) и назвал сговоровившихся учеников мещанами и злопамятными трусами. Следовало бы оказать доверие человеку, который хотел вновь влиться в общество как законопослушный гражданин, так что Мальва будет первым,

кто пойдет с ним, он не боялся. Когда Мальва очутился наедине с этим человеком на лодке и понял, что тот хочет его убить, сознание его так помутилось, что он поддался ударам и ни одного не почувствовал. Убийца не имел подлинного мотива: он легко мог бы сделать из Мальвы компаньона или жену, однако, не прикоснулся к нему, даже не подумал раздеть, прежде чем замочить. До посадки он и не замыслил убийства, он знал только, что украдет лодку, но все в поведении Мальвы, особенно его взгляд, взывало к убийству. Ему казалось, что убийство невинного, рецидив украсит его судьбу новой славой. Вдребезги разбивая веслом его голову, он ничего не сказал, даже «я тебя убью», ни бранного слова, ни слова молитвы. Мальва стоял на палубе на коленях, зачерпывая в ведро воду, чтобы промыть консервированные овощи, он услышал позади себя скрежет. Обернувшись, он увидел мужчину, с которым они дружелюбно проговорили на суше весь вечер, и в руке у мужчины – весло. Время застыло, в глазах все смешалось, он больше не слышал ничего, кроме шума турбин, отсутствие ветра заставило их завести мотор. В этот миг вселенская память запечатлела сильнейшее головокружение, которого не испытывал еще ни один человек. Ни один приговоренный к смерти и ни один палач, никакая жертва и никакой истребитель, ни Бог, ни даже дьявол, когда они еще были людьми, не чувствовали так сильно безукоризненную логику судьбы. Душа Мальвы, сиявшая под разбитыми костями, устремилась в полете к фреске.

АУСКУЛЬТАЦИЯ

Завяжите себе глаза, говорит ребенок врачу. 19
Мать осталась в приемной. Доктор Меттеталь унаследовал кабинет от отца, а тот от своего отца, и с поры, когда в начале века здесь расположился дедушка, ничто в этой буржуазной квартире не изменилось. В запертых витринах громоздились привезенные когда-то из путешествий по Востоку и теперь едва узнаваемые в запыленной путанице предметы. Ковры вбирали звуки шагов. На массивном бюро по-прежнему стояла голова Будды, убрали только портреты сменявших друг друга женщин, доктор Меттеталь жил холостяком. Он был высоким, худым, достойно носившим родовое имя молодым человеком с длинными узкими руками и то матово-синим, то землистого цвета лицом, в котором угадывалась красота, но не та, что сражает наповал, скорее это было лишь воспоминание о красоте или же сожаление о минувшем, на него нельзя было смотреть, не чувствуя, как внутри поднимается нечто приторное, повеивающее смертью, словно это лицо было филигранной работой суккуба, понемногу высушивавшего, стягивавшего плоть, будто скальпелем вырезавшего на кости высокие славянские скулы, подкрашивавшего вокруг глаз лиловым, вынуждая эти глаза глядеть с неясной, бесцельной меланхоличностью. Вскоре после смерти отца, будто освободившись

от сложившейся традиции, наследуемой из поколения в поколение и превращавшей всех в отличнейших терапевтов, он решил специализироваться на педиатрии. У доктора Меттеталья имелась одна справедливая гордость: великолепные, роскошные, длинные волосы, отраставшие очень быстро; энергично расчесывая от пробора, он откидывал их назад, и даже ребенок, не склонный к подобного рода наблюдениям, оказался покорен их словно электрическим сиянием и, – хотя в кабинете все-таки сильно пахло эфиром, – позабыл о страхе, мечтая к ним прикоснуться. Доктор Меттеталь спокойно повторил требование: раздевайтесь. Ребенок не сводил с доктора глаз, его голос выдавал явную неуверенность, но он так же спокойно тоже потребовал: завяжите себе глаза. Доктор Меттеталь подумал, что должен оставаться рассудительным: я не буду завязывать глаза, потому что должен вас осмотреть, дорогой мой, и как же вы хотите, чтобы я осматривал вас с завязанными глазами? Да что вы такое говорите, запротестовал ребенок, в Соединенных Штатах людей осматривают, прикрывая бумажными листиками. Вы хорошо осведомлены, говорит доктор с игристым видом. Вы должны знать об этом побольше меня, отвечает ребенок. Давайте, раздевайтесь, или я позову вашу мать, говорит доктор уже с раздражением. Мама всегда со мной соглашается, отвечает ребенок. Но почему, черт возьми, вы не хотите раздеться? Да нет, я хочу раздеться, произносит ребенок, но не раньше, чем вы завяжете себе глаза. Вы считаете, здесь слишком холодно? Да, действительно, здесь немного прохладно. Хотите, включу обогреватель? Если для вас это так важно. Тогда вы разденетесь? Да, когда вы завяжете себе глаза. Но, в конце-то концов, мы тут

не в жмурки играем, взорвался доктор, что вы такое придумали? Я сейчас же пойду за вашей матерью. А вы не считаете, что нам лучше вдвоем решить эту маленькую проблему? – спросил ребенок со всей серьезностью. Да, вы правы, говорит доктор, тогда не могли бы вы объяснить, почему вы хотите завязать мне глаза? Чтобы вы меня не видели, отвечает ребенок. Почему ж еще? Не так уж хорошо я вас знаю, так с чего я должен вам оказывать милость смотреть на мое тело? Ведете себя, как Изабель Аджани¹, честное слово, восклицает доктор. В некотором смысле, отвечает ребенок, который теперь кажется совершенно уверенным, убежденным, что выиграет. Ну что ж, я обещаю, что не буду на вас смотреть, я закрою глаза, но дайте вы мне уже вас аускультировать и растегните хотя бы рубашку! Дабы ускорить переговоры, доктор Меттеталь схватился за стетоскоп и приготовился слушать. Отказываюсь, отвечает ребенок, вы жульничаете, я хочу, чтобы вы завязали глаза. Но как же тогда я смогу все проверить? Я буду водить вашей рукой, говорит ребенок. Но тогда я буду вынужден вас касаться, а это тоже в некотором роде способ что-то увидеть, как я себе это представляю. Вы можете представлять себе все, что угодно, но вы ничего не увидите. Не хотите ли, чтобы я надел еще и перчатки? Нет-нет, повязки будет достаточно. Вы упрямы как осел, говорит доктор. Ну а вы? Вам, судя по всему, нравится терять время, если бы мы поменьше тут препирались, все было бы уже сделано. Хорошо, чем, повашему, я должен завязать глаза? – спросил

21

1 Гибер одно время дружил с Изабель Аджани, фотографировал ее, писал для нее сценарии и собирался снимать фильм. Речь об актрисе идет в ряде его произведений.

побежденный доктор. Моим шарфом, сказал ребенок, у которого еще секунду назад не было никакого ответа, держите, и он протянул ему краешек черного шерстяного шарфа, связанного матерью. Не желаете ли проверить? – спросил доктор. Да, говорит ребенок. Доктор Меттеталь повязал шарф вокруг головы, осторожно, чтобы волосы не попали в узел, ребенок подошел сзади и завязал еще один узел, потом встал спереди и провел рукой перед глазами. Вы видите что-нибудь? – спросил ребенок. Да, отвечает доктор. Вы лжете, говорит ребенок, я его проверял прежде, чем идти сюда, шарф просто прекрасный. Затем ребенок, словно собираясь сыграть злую шутку, крадучись, отошел подальше и нагнулся, чтобы развязать ботинки. Он двигался так, будто исполнял тайный, счастливый, победоносный танец. Что вы делаете? – говорит доктор, машинально вытягивая вперед мембрану стетоскопа. То, о чем вы меня просили, доктор: я раздеваюсь. Прежде чем расстегнуть рубашку, ребенок огляделся по сторонам, дабы удостовериться, что никто не может его увидеть, что дверь кабинета плотно закрыта, а оконные стекла матовые, он наклонился посмотреть сквозь узкую прозрачную полоску, шедшую вдоль деревянной рамы, но окно выходило на парк, он даже подошел к большому устаревшему рентгеновскому аппарату и потрогал, будто проверяя, не живое ли это существо. И тогда, завершая сакральную пантомиму, расстегнул одну за другой пуговицы рубашки. Под рубашкой была белая майка. Наконец, он снял ее таким резким движением, что наэлектризованные трением волосы на голове остались стоять торчком, будто корона. Он разделся, на стене над ним висела картина с сидящей в поле одинокой женщиной,

он бросил на нее жалобный взгляд и прижал руку к груди. Вы можете подойти, говорит, дрожа, ребенок. Подойдите вы, отвечает доктор. Ребенок приблизился к его протянутым рукам, повернулся, чтобы встать к нему спиной; подставил затылок, как побежденный зверь. Доктор не осмеливался ощупать его, он лишь едва касался, он попросил его подышать ртом, потом покашлять, ребенок подчинился. Затем он приложил ухо к тощим лопаткам мальчика и постучал в нескольких местах пальцами. Войдите, сказал ребенок. Пошлая шуточка, отвечает врач, так говорят все дети. Вот видите, отвечает ребенок, нужно немного нормализовать ситуацию. Думаете, ее можно нормализовать? – спрашивает доктор, – с нас хоть картину пиши. Да, произносит ребенок. И доктор тихо коснулся его боков, чтобы повернуть лицом к себе, ребенок испуганно выскользнул из рук: я сам все сделаю, говорит он. Он еще раз поднял голову к женщине на картине, словно, чтобы испросить у нее немного храбрости. Теперь, говорит ребенок, вы будете аускультировать мне... сердце? Именно так, отвечает доктор, вам еще этого не делали? Делали, говорит ребенок. И что, спрашивает доктор, ведь это не больно? Больно, отвечает ребенок, и очень даже. Вы хотите сказать – холодно? И не только, говорит ребенок, делает шаг вперед и притягивает к себе кисть врача, пытавшегося отыскать его сердце. Ну что, теперь вы видите, горестно говорит ребенок. Нет, клянусь вам, что ничего не вижу. Но теперь вы видите, повторил ребенок, вы видели... Нет, я лишь слышу удары вашего сердца, они самую малость сбиваются с ритма. Вы видели, говорит ребенок, скажите мне правду. Но что я должен увидеть? Вы так говорите, чтобы сделать мне приятное, отвечает ребенок,

вы видели, но не хотите мне об этом сказать; если вы видели, вам остается лишь снять повязку... В голосе ребенка почти слышались слезы. Нет, говорит доктор, я сниму ее только, когда вы мне об этом скажете, вы сами ее снимете, надеюсь, вы хоть не kleптоман, у меня вечно все карманы забиты. О, говорит ребенок, словно эта мысль показалась ему смешной, вы хорошенький. Хорошенький? Хороший вы человек, говорит ребенок. Вы можете одеваться, говорит доктор. Ребенок сделал шаг назад и схватил майку, которую заранее приготовил на стуле, дабы сразу надеть, ему не терпелось снова ощутить на себе одежду. Я могу снять повязку? – громко спросил доктор, не подумав, что находится совсем близко к пациенту, продолжавшему в нескольких шагах от него двигаться бесшумно и быстро. Можете, отвечает ребенок. Он снова в последний раз взглянул на женщину на картине: он даже не заметил, что она подносит к губам палец, словно бы говоря ему «Тс-с-с!» Женщина охраняла сон того, кто спал за пределами рамы. Название картины, выгравированное на табличке, стало уже нечитаемым; может быть, картина называлась «Секрет». Врач заморгал, вы заставили меня вернуться издалека, говорит он, смеясь, это было настоящее похищение. Я могу потрогать ваши волосы? – спрашивает ребенок. Зачем? – спрашивает доктор. Просто так, чтобы поблагодарить вас, потому что они красивые. Ребенок, наконец-то, коснулся волос врача. Когда холод и жуткая сушь источили все тело, врач, лежа при смерти, вспомнил об этой сцене, и она была сильнее любого морфина.

МЭМЕ НИБАР

25

Не повезло Эме¹ Нибар называться Эме Нибар, весьма быстро она стала слишком толстой девушкой с чересчур пышной грудью и должна была скрывать исходивший от потовых желез тошнотворный запах удушающе тяжелым парфюмом. Она носила платья свободного покроя, коротко стригла волосы цвета соломы с черными корнями, ноги у нее постоянно опухали. Ток крови вызывал недомогания, когда замедлялся в какой-либо части тела, чаще всего в голове, наступало удушье, пот лил градом. Ходила она мало. Большую часть времени занималась тщательной эпиляцией и бритьем.

При неясных обстоятельствах, возможно, вполне банальных, Эме Нибар повстречала низенького, невероятно худого, но атлетической наружности мужчину, месье Поля, что жил на оклад бумагома-раки из страховой компании, занимавшейся делами земледельцев, пострадавших от наводнений и саранчи. Они поженились. Поль возвращался по вечерам весь в пыли бумажных завалов и купался в этой обильной плоти, засыпал в ней, наводя на Эме скуку. Поль продолжал выглядеть героем в ее глазах, благодаря удивительной страсти,

1 По-французски имя Эме – *Aimée* – звучит как слово «возлюбленная».

которой отдавал долгие часы свободного времени и все силы: то были скачки сквозь огненные преграды. Поль сохранил храбрость времен военной службы. Следовало быть тренированным в беге, ловким в прыжках, что было не сложно для Поля с его прекрасными икрами, но, главным образом, следовало не бояться огня, бежавшего по железным прутьям арок и брусьев, и сгибаться, группироваться, вытягиваться в одну секунду, чтобы пройти сквозь огненные обручи, становившиеся все уже и уже. Поль тренировался дважды в неделю, во второй половине дня по воскресеньям и вечером по четвергам в спортивном клубе. Когда он возвращался домой, ласковая Эме часто щебетала ему всякий вздор, но Поль не реагировал на пламя нежностей, мечтательный и молчаливый, порой недовольный, он машинально играл с горящими спичками, а Эме грела суп. Он сотворил ей ребенка.

Участие в соревновании по прыжкам сквозь огненные преграды, проходившем лишь раз в год, стоило дорого; зарплата Поля была смешной; теперь появился еще один рот, который надо было кормить, красненький и слегка важничающий, жадный до грудного молока и жиденьких кашек. Поль уговорил Эме устроиться консьержкой и переселиться в комнатку на авеню дю Мэн, она не роптала, и они переехали. Узкая комнатка находилась в глубине ухоженного дворика, Эме посадила под окном гортензии и герани, они были ей очень дороги. Все остальные попытки испытать какие-либо чувства портили Полю настроение, а в его сыне Жожо вызывали грубость, тот рыгал, лакал пиво; когда ему исполнилось четырнадцать, он устроился разделщиком туш в мясной лавке

в районе Ле-Аль. Он просыпался в три ночи, Эме его больше не видела. Начало работы консьержкой совпало со временем, когда ее принялись звать Мэме. Очень быстро у нее появились подружки, одна или две снимали здесь квартиры, и консьержки соседних домов поверяли ей свои тайны. С соревнований Поль привез несколько медалей и, в качестве самого большого трофея, латунный кубок, – не ахти какие знаки отличия, об особых победах не говорившие. Он не получал ни первого, ни второго места, безвестно числясь на почетных позициях в конце первой дюжины, от чего впадал в глубокую меланхолию. Он даже больше не ходил в бистро, где, тем не менее, любезно праздновали его малейшие достижения. Он тратил все свои деньги на то, чтобы улучшить экипировку, на бутсы с шипами, на огнестойкие носки и трико с асбестовой подкладкой в надежде завоевать первый приз. День этот настал, когда ему было сорок два: соревнование проводилось в Барселоне: Поль, пав духом и ни о чем не думая, преодолел десять горящих препятствий. Чтобы расслабиться и умножить мужество, он проглотил пилюлю с лауданумом и оказался самым быстрым. Он не старался восстанавливать дыхание меж препятствиями, ни о чем не думал, у него было лишь ощущение, что происходит важнейшее событие, от которого почти что зависит жизнь. Эме не смогла с ним поехать. Он вернулся на самолете в тот же вечер с прекрасным золотым кубком. На следующий день он отказался от еды, полностью разделся в их комнатухе, не мог удержать в руках ни одного предмета. А через день очутился в больнице: его кожа казалась невредимой, но в более глубоких слоях дермы и мышц он полностью обгорел. Мэме навещала его каждый день, иногда приносила

ему кубок, чтобы утешить, но не оставляла его, боясь, что тот украдут или что он будет им драться. Он ужасно страдал, но не сетовал. Спустя месяц он умер.

28 Мэме осталась в тесной комнатухе среди медалей и кубков, вырезок из журналов, редких фотографий, на которых был запечатлен Поль во время своей безумной гонки. Она сходила на набережную¹ и купила там золотую рыбку, которую назвала Пополь. Она говорила с ней. Она обзавелась аксессуарами для украшения аквариума, водорослями, галькой и кислородной трубочкой. Она никогда не забывала насыпать корм, который не очень приятно пах мокрыми опилками. Она радовалась, что Пополь здоров, что герани и гортензии возле ее окна самые красивые в квартале. Сын навещал ее редко. Так и шло время до тех пор, пока одна реставрационная компания не возвела, затянув брезентом, леса у фасада здания. Мэме заметила в бригаде рабочих мальчонку-араба, смотревшего на нее с невероятной нежностью, но вскоре про это забыла. Однажды он постучался в окно комнатухи, она открыла. Он сказал: здравствуйте, мадам, я могу войти? Как только она затворила дверь, он сказал: я люблю тебя! – страстно поцеловал ее, повалил на кровать, раздел и овладел ею. На следующий день он ушел из молодежного общежития и переселился в ее комнатуху. Они занимались любовью весь день и всю ночь. Мэме никогда не испытывала подобного трепета с Поподем. Ей было пятьдесят, ему двадцать пять, но они нравились друг другу.

1 На парижской набережной возле Лувра продавались рыбки и домашние животные.

Рабочие увезли брезент и леса, а Мони остался в ее комнатухе, он оставлял Мэме утром, чтобы трудиться на новой стройке. Тогда и случилось несчастье: на него упала балка, а вслед за нею огромная свинцовая глыба, ноги были переломаны, их пришлось ампутировать. По возвращении из больницы Мэме взяла его в свою комнатуху, он лежал, распростершись на кровати, они занимались любовью с прежним пылом. Не в силах передвигаться, Мони начал рисовать морские пейзажи и закаты. Поскольку Мони получил после несчастного случая большую компенсацию и ему была обеспечена пожизненная пенсия, он решил повезти Мэме в Алжир, чтобы представить ее родителям. Перед поездкой они зажарили золотую рыбку, бедненького Пополя, на которого Мэме больше не могла глядеть, завернули его в фольгу и спустили в унитаз.

Мэме вернулась из Алжира, огорошенная путешествием на самолете: она ела на высоте тысячи метров над землей, и все было горячим, и в пакетике имелась горчица, и вода в стаканчиках, и все это бесплатно. На снимках, которые она привезла, Мэмэ была вместе с Мони в семейной касбе: она позировала в национальном костюме, сидя верхом на осле. Вернулась не одна, но с большой печалью в глубине сердца: она знала, что однажды Мони ее оставит, несмотря на то, что у него нет ног; в Алжире у него с детства была невеста, к которой он скоро вернется. Уверенность в расставании всё переменяла. От волнения Мэме спряталась поплакать, когда заметила, что Мони чистит зубы ее щеткой, для нее это было главным знаком любви, она не понимала, почему Мони бросает ее. Через месяц он снова сел в самолет, и она никогда больше не получала от него вестей.

Однажды утром, раскрыв ставни, Мэме не увидела гераней и гортензий, их ночью украли. В тот же вечер с ней случился удар. Соседка вызвала врача, кровь в венах Мэме билась так сильно, что сломался тонометр. Ее отвезли в больницу. Были летние каникулы, не нашлось никого, кто мог бы ее навестить. Она сказала медсестрам, что одна из съемщиц в ее дворе была звездой мюзик-холла и обязательно навестит ее, как только начнется сезон, медсестры ей не поверили.

Эта женщина – З.¹ – навестила ее в Отель-Дьё². Она принесла ей браслет. Мэме лежала в отдельной палате с телевизором. Чувствовала она себя хорошо, немного похудела, больше не ела жирного и сладкого. Она скучала по своей кошке, Григри, которую взяла к себе соседка. Цветную фотографию кошки она хранила на ночном столике. З. навещала ее много недель подряд, потом она должна была уехать на гастроли. Вернувшись, она узнала, что у Мэме был еще один удар и ее перевели в Сальпетриер. Половина тела была парализована. Поскольку в той половине находился и речевой центр мозга, говорить Мэме не могла. Она лежала в общей палате корпуса нервных болезней, пристегнутая ремнями под белым покрывалом с зеленой каемкой к кровати-гробу. Увидев меня, она начала плакать и тереть мою руку.

1 Изабель фон Альмен – французская актриса, известная под псевдонимом Зук, близкий друг Эрве Гибера. Писатель посвятил ей одну из своих первых книг, названную по аналогии с книгой «Барт о Барте» – «Зук о Зук». Прославилась во Франции после серии спектаклей *one woman show*. Снялась в нескольких фильмах, в том числе у С. Бодрова-старшего.

2 Отель-Дьё и Сальпетриер – парижские больницы.

По зонду сразу же побежала струйка мочи. Ее сын Жожо, склонившись, говорил с ней, как с ребенком. У нее украли часы и халат. З. надела ей новые часы на запястье и вынула из пластикового пакета все свои косметические принадлежности, за которыми специально зашла перед этим в примерную. Она намазала ей губы помадой и накрасила веки. Я протянул Мэме карманное зеркальце с благостным рисунком, чтобы она могла на себя посмотреть. Она повторяла: да, да, да, да, да... на разные лады, будто длинную жалобу, то соглашаясь, то протестуя. Больше она не могла произнести ни одного слова. Мы протянули ей доску с мелком, и она попыталась с трудом начертить три палочки. Все мы в комнате замерли в ожидании, что эта женщина что-то сообщит, но должны были забрать доску, так как ее рука падала от усталости.

31

З. ее больше не видела. Через приятеля, работавшего в Сальпетриер, у нас был доступ к больничному дневнику, мы знали, что Мэме не может выздороветь, что она никогда не заговорит и не начнет двигаться, но может много лет вести растительный образ жизни. Ее снова перевели, теперь в заведение для стариков-калек и душевнобольных в пригороде, где больше ее никто не навещал. В субботу, когда обременительным больным выдают «коктейль», дарующий им долгожданную свободу, Мэме отправилась в мир иной. З. не пошла на похороны, но Мэме больше не покидала ее снов. З. с такой легкостью изображала весь мир, и стариков, и детей, но, несмотря на все старания, ей так и не удалось изобразить Мэме.

ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА

32

Когда я увидел Фернана, приехавшего в Рио, он был похож на привидение, вместе с ним был поклонник. Я обмолвился ему об этом, и он мое предположение опроверг: никакой это не поклонник, а просто друг, собутыльник. Стало быть, первая фраза лжива во многом: в том, что Фернан похож на привидение, не было сомнений, можно было сказать, что он мертвенно бледен или обесилен, если бы я не устал от этих слов, я бы мог сказать также, что он желтого цвета, если б меньше его любил. Я не ждал его, я дал ему местный номер просто так, не думая, что он им воспользуется, и вот его голос звучит совсем близко: я тут, на острове. Ибо здесь скрывается первый обман: можно подумать, что Рио – это Рио-де-Жанейро в Бразилии, тогда как это название деревеньки на острове Эльба. Я спросил его: но где именно на острове? Он отвечает: не знаю. Я говорю: в каком порту? Он мне: я сел на корабль в Италии. Я отвечаю: это-то понятно, но где именно ты сошел, я должен знать, чтобы понять, где тебя встретить, в Портоферрайо, в Порто-Адзурро, в Рио-Марина? Он говорит: пойду спрошу, сейчас перезвоню тебе. Мы едем за ним в Портоферрайо. Он на солнцепеке сидит в порту, устроившись на сумках, тогда-то и вспыхивает в первый раз, по другую сторону бокового стекла подающего задом автомоби-

ля, матовая белизна былых эпох на его лице, явленном, будто на негативном оттиске. Зато лицо его приятеля покраснелось, и это сразу же побуждает меня, может быть, из вредности, а, может быть, и из симпатии, несмотря на утренний час, угостить его бокалом вина, который добавит чуток красноты его и так уже красному носу. На сем я и останавливаюсь: в конце концов, я хочу лишь быть любезным. Вскорости Фернан выказывает демонстративную, беспримерную, невероятную злобу. Мы сидели на диване – неугомонный ребенок, Фернан и я, – я был между ними. Фернан, никак не реагируя на разговор, погрузился в книгу о языке глухих. Ребенок пихал меня, напрасно стараясь повалить на Фернана, я же увертывался. Я с иронией оставил ребенка под его присмотром. Тогда он пододвинулся ближе к Фернану и очень тихо, очень ласково щипнул его, почти не мешая чтению. Фернан буквально взорвался, и мы увидели нечто ошеломляющее: его лицо внезапно исказилось в припадке злобы, с которой он набросился на ребенка, он вытянул руку, методично закатал рукав, и занесенными в воздухе пальцами, словно омерзительными щипцами, с надменностью и такой силой сжал кожу, что на ней проступил синяк, и ребенок скорчился от боли. Затем, успокоившись, вернулся к книжке, поразив нас столь чудовищным проявлением жестокости. Мы отправились на прогулку по заброшенной долине возле летней резиденции местных дворян, где была полуразрушенная каменная арка, пара симметрично стоящих у входа кипарисов и засыпанная козым пометом часовня. Равнодушный Фернан нежничал с деревьями, поглаживая так и эдак кору ладонями. Бегая вокруг одного из стволов, запутался в собственной привязи черный

козел с витыми рогами: рискуя напороться, Фернан очень медленно, не говоря ни слова, высвободил обессилившее животное, заставляя перепрыгивать над петлями привязи. Затем, приговаривая, что от одной ничего не будет, сжевал только что сорванную поганку. На кладбище я видел, как он впал во всепоглощающее тупое созерцание, склонившись над погребальной урной: стоя у него за спиной, я взглянул, на что он смотрит, и различил потонувшую букашку. Мы говорили с Бернаром¹ о больших кладбищах Милана и Флоренции: о каменных изваяниях в натуральную величину, во всем их единообразии воздвигнутых над захоронениями, и о высовывающихся из плит обрубленных руках, о сложенных в молитве кистях и о величественных мавзолеях, пирамидах, сложенных бурями пальмах. Фернан говорит, что никогда не видел на море никаких бурь, он отправился в первое путешествие, когда ему было двадцать восемь. Бернар описал могилу альпиниста, сорвавшегося на подъеме: на стеле изображена увитая страховочными тросами скала, над которой парит орел, уносящий в небо фигуру героя. Я спросил Фернана, о каком надгробии он бы мечтал (он возмущался, что покойников этой страны хоронят не в земле, а в нишах над нею), он подумал и ответил: чтобы было немного песка и еще муравейник. Снова сидя рядом с ним на диване, я чувствовал, что не способен к нему приблизиться: он сразу же, подняв голову, оторвался бы от книги и бросил на меня опасливый взгляд зверя, которого потревожили в клетке. Я представлял себе,

1 Бернар Фокон, известный фотограф, близкий друг Эрве Гибера, познакомивший его с Венсаном Мармузесом, который также присутствует в текстах этого сборника и назван то по имени, то «ребенком».

что он рос в зоопарке. Тем не менее, рос он вместе с братьями, возле шлакового отвала, где работал отец, невысокий мужественный человечек. Теперь, встречаясь с ним, отец плакал. Я говорю Фернану, что ребенок был крайне взволнован из-за злобного щипка; облокотившись о капот машины и неотрывно глядя на море, ребенок вспоминал о нем, как о неимоверном, колдовском проявлении. С покаянным видом Фернан отвечает: так получилось лишь потому, что я хотел принять участие в ваших играх, но не знал, как это сделать. Вечером мы говорили, что нужно прогуляться, Фернан сказал, что пойдет со мной. Я повел его на крутую вершину у пропасти, до которой невозможно добраться ночью. У нас не было с собой фонаря, на подъемах я побаивался, на спусках было не так страшно. Во второй половине дня, помогая перейти речку, он щегольски подставил мне руку со сжатым кулаком: я оперся и с наслаждением почувствовал, что мы превратились в пару раскрашенных гипсовых фигурок, что заставляли меня в детстве мечтать о средневековье. Взбираясь, мы углубились в темень: изгибы тропинки едва угадывались. Чуть отойдя от него, я услышал, как он удаляется от тропинки и идет к оврагу. Я притянул его к себе и взял за руку. Так мы и шли, схватившись друг за друга, словно двое слепых, радостно направлялись вперед, слишком полагаясь друг на друга, навстречу опасности. Мы оба увидели, как скользнувшая звезда черкнула горизонтальную линию. Лесная опушка уже больше не пламенела, как в последний раз, когда я сюда приходил: ни хруст веток, ни теплый ветерок не сходили на нас, касаясь волос и омывая губы, унося стрекоз с шелестящими крылышками, стремящихся прочь от пламени, о котором я поведал

Фернану. Мы достигли вершины: над обеими бухтами нависала выметенная ветром пустота, открывавшая вид на заливы синеватого, поблескивающего тумана. Я ощутил пронзительную физическую радость, сильную стужу, восторженное возбуждение: наши взгляды поднялись к небу. Я подошел ближе к Фернану, я не решался его поцеловать; в тот миг, когда я отказался это сделать, губы говорили вопреки воле: можно я тебя поцелую? Он отвечает: можно. Наши рты горели. Я счастлив, не существует больше никакой печальной преграды меж радостью и ее выражением, меж чувством и его воплощением, меж настоящим и вечностью. Фернан не закрывал глаз: когда я это заметил, вновь раскрыв свои, я увидел вблизи исходящий из глубоких впадин запрокинутого лица, из фиалковых ямок трепещущий неподвижный взгляд ночной сини, непонятный и безумный, незабываемый, умоляющий, словно печальный и заносчивый взор возникшего из травы носорога. Потом в непрерывной и теплой радости поцелуя стали появляться иные видения: мы были зверями, что встретились на пустоши, выйдя навстречу друг другу с противоположных сторон леса, двумя животными с хоботами, двумя гигантскими улитками, двумя несчастными гермафродитами. Мы целовались в точности так, как целовались с сестрой, когда были маленькими, высовывая языки изо рта, чтобы касаться кончиками, затем он просовывал язык к нервным окончаниям между деснами и губами и ласкал уздечку, словно это уздечка члена. И вот мы стали безумцами, сбежавшими из приюта и творившими последнее безрассудство перед тем, как санитары в белых халатах, притаившиеся в полыхающих кустах, выскакивают со всех сторон, чтобы снова стянуть нас смири-

тельными рубашками. Затем наслаждение брало верх над прихотью, и поцелуй не кончался. За два дня до того, когда уже опустилась ночь, мы с Бернаром приехали на машине к этому кособоку, чтобы пускать взвивавшиеся с человеческими воплями ракеты и разрывавшиеся снопами искр японские бомбочки. Эти огни, фейерверки обернулись сбывшимися желаниями. Мы спустились по крутому склону бегом, держась за руки, перепрыгивая через канавы, словно летая во сне. Я был счастлив и, описывая это через неделю, не веря в могущество тайны, испытываю теперь мучительное головокружение.

37

Я отвел Фернана в кафе, это я-то, – который обычно постоянно там трусит, так некомфортно себя чувствует, – я был рад показать моего возлюбленного деревенским парням и пьянчужкам. Один из них, почти карлик, которого совершенно преобразил хмель, понукавший его плясать, отдавая дань всем стриптизершам мира, тот самый, что двумя днями ранее думал, что я уже умер, схватил Фернана за рукав, решив, что Фернан немой. Он спросил, кем тот работает. Я ответил, что Фернан пишет, этот же не хотел верить и все повторял: скажи мне правду, чем он занимается? Он попытался запродать Фернана проходившей мимо белобрысой ссыкухе. Мы пили стрегу, «колдунью», ликер из одуряющих трав, что сочетает браком избранных и порой осуждает на муки.

Я спустился в каморку, где Фернан устроил себе постель, я не решался спуститься, я не решался остаться. Подумав о нашей плоти, мы рисковали дойти до банальности. Мы часами целовались, ничуть не интересуясь своими членами. Его широко

раскрытые глаза заставили открыться и мои собственные, и он смотрел в них непрерывно: мы стали насекомыми. У Фернана теперь было множество лиц, в зависимости от того, близко ли я от него был или далеко, на публике или же в укромном углу, и я волновался от желания соединить их все: лик девственницы с округлым ртом и мужиковатую физиономию крестьянина, надменное лицо и лицо человека, потерявшего разум. У него были такие же руки, как у моей первой любви, невероятно красивые руки, у него была та же самая кожа, тот же торс, у него было почти то же тонкое лицо и длинные светлые волосы. Как прежде, я разделся, чтобы лечь в постель. Он ласкал мое тело и говорил о любимом брате, самом младшем, Морисе. Это была тупая скотина, всегда недовольная, вечно пьяная, с которой он дрался, удил рыбу ради единственного удовольствия отрезать угрям головы. Он проматывал отцовские деньги на попойках: Фернан помнит о времени, когда пятеро братьев возвращались на рассвете, накачанные пивом, заставая на кухне бурчащего, непрактичного, уходившего на угольную шахту отца. Я хвастался, что ношу ту же фамилию, что и обожаемый брат. Казалось, Фернан был рад признаться, что Морис меня ненавидел, что он говорил обо мне, будто о дьяволе. Мне снились обезьяны, которые в каком-то порту взобрались одна на другую, чтобы построить пирамиду. Я пошел за фотоаппаратом, но, вернувшись, увидел, что пирамида упала. Ползая во мраке по земле, непослушные обезьяны кусали меня за ноги, и раны я собирался показать отцу.

В рождественскую ночь толстая дочь соседки собралась отвести нас на бал, организованный коммунистами в подвале школы. Окна гимнасти-

ческого зала затянули черными шторами, меж неоновыми лампами развесили гирлянды. Шестеро юношей на импровизированном помосте переоделись в музыкантов, инструменты казались деталями костюмов. Зал понемногу заполнился: пожилые женщины кучковались в углу, немолодые мужчины в праздничных одеждах, сунув руки в карманы, разгуливали из стороны в сторону; девы прыскали со смеху в углу, противоположном тому, где толпились бабушки, поклонники не появлялись, почти все ушли кутить на бал поприятнее и поэлегантнее или же на настоящую дискотеку. Тут играла музыка старомодная и возвышенная: вальсы, ча-ча-ча, польки, пасодобли и твисты. Ради Фернана я надел свой спенсер, красные брюки, белую рубашку и галстук-бабочку, отыскал черные мушкетерские туфли с застешками. Мы пили граппу, местную водку. Я говорю Фернану, сидящему рядом со мной, словно застенчивая девушка, что мне хочется с ним обниматься и чмокаться на танцплощадке. Я спросил разрешение у нашего распорядителя, жившего в деревне по шесть месяцев в году, и он мне категорически запретил. Я расстроился: я говорю Фернану, что мы выйдем из зала и будем танцевать вдвоем снаружи, по ту сторону черных штор, под приглушенную музыку, словно два стыдливых дурачка. Я взял его руку и принялся рассматривать ногти: они были редкой красоты, непривычно плотные, покрыты, по всей видимости, лаком благородно розового цвета, такой формы, словно вырезаны из плоти. Особенно я восхищался большим пальцем левой руки, прекраснейшим из всех. Я сказал об этом Фернану. Он вынул из кармана нож и начал выдирать ноготь, чтобы отдать мне, не столько в знак любви, сколько по старинному обычаю, что предписывал таким

образом противиться любым похвалам. Карать или награждать воспевателя, но, главным образом, самому убеждаться в собственной покорности. Я набросился на Фернана, стал выхватывать нож, которым он уже принялся отдиравать ноготь. Ритм музыки стал бешеным, танцевать под него было почти невозможно. Мы дрались. Во время борьбы я устремился к танцплощадке, дабы превратить борьбу в танец. Наши тела выпрямились, рука об руку, мы подскакивали, ничего и никого не видя, лишь собственные опасные прыжки. Мы танцевали, словно два ошпаренных краба-паука, опустошающих все на пути. Оркестр постепенно затих, музыканты ставили инструменты на пол, некоторые пары прекратили танцевать. Мы же продолжали с удвоенной силой, я чувствовал такой стыд и такую гордость, что больше не мог остановиться, рискуя потерять лицо; следовало ждать камней или свиста. Но в группе пожилых дам одна принялась хлопать в ладоши, за нею все остальные. Музыканты один за другим опять взяли за инструменты, и мы, снова садясь, с пересохшими губами и колотящимся сердцем, заметили, что на нас смотрят с признательностью. Пришли Донатус и его брат. Я сказал об этом Фернану, он их еще не видел, но мои слова его воодушевили. Донатусом, конечно же, мог назваться один из его героев. Донатус переменился: он больше не был засаленным и не вонял чесноком, который прежде грыз по утрам, чтобы почистить зубы. Он постриг редеющие волосы. И в то же самое время в его поведении сквозило признание собственной незначительности, делавшее его трогательным. Он улыбался нам. Его младший брат, Уриэль, был здоровенным парнем с густыми взъерошенными волосами, которые он часто приглаживал, фигуру облегал черный

камзол, из узких рукавов торчали манжеты рубашки из другой ткани другого цвета, все в пышных складках, они контрастировали с остальным нарядом, вполне схожим с броней. Я пригласил Фернана на медленный фокстрот, прижимаясь к нему, почти целуя, противопоставляя свою жесткую хватку хрупким прикосновениям его рук. Городской житель заставлял танцевать сельского. Я шептал ему: завтра мы увидим, что к нашим дверям пригвоздили сов. Распорядитель, поздравивший нас с первым танцем, этот танец осудил. Фернан жаловался, что я так напряжен. Я подговаривал его пригласить братьев, кого он из них выберет? Он покраснел, сказав, что Донатуса. Я поднялся и низко поклонился засмеявшемуся Уриэлю, вприпрыжку повлекшего меня танцевать вальс, похожий на корманьолу, танец двух хмельных мародеров, двух дикарей с содранной на посрамление кожей и вытянутыми вперед, будто булава, кулаками, двух шевалье-содомитов. Я почувствовал, как позади меня Фернан поднимается и застенчиво идет к Донатусу, я искал его взглядом среди более достойных пар, они танцевали бурре. Посреди танца Уриэль остановился, отвел руку от моей, разжал мои пальцы, чтобы потом снова сжать, переплестя со своими. С помощью пришедшей с нами тучной подружки деревенские девушки приглашали нас танцевать и испуганно улыбались, когда не прыскали со смеху. Когда я снова танцевал с Фернаном, нас разлучил какой-то старик, он сунул мне в руки щетку и потащил за собой озадаченного Фернана. Я подумал, насколько все это оскорбительно и, не зная, как ответить, танцевал в одиночестве со щеткой. Потом я подошел поближе к продолжавшим танцевать Фернану и старику, дабы обнять их обоих сзади, погладив щеткой лысую голову старика. Тот, разъяренный,

дал мне понять, что игра заключалась не в этом: я должен был, передав щетку, разбить другую пару. Я собирался выбрать мясника. Но щетку каждый раз всучали Фернану, и он жаловался, что все хотят разлучить его с милым сердцу кавалером, которым был уже вовсе не я. Я пригласил на фокстрот толстую девушку, Фернан заявил, что наблюдал за нами и никогда в жизни не видел столь печального танца. Музыка стала более завлекательной, я предложил Фернану и двум братьям станцевать танец безумцев. Мэр-коммунист подошел к нашему распорядителю и спросил, правда ли то, что, как прошел слух, я танцор в Опера де Пари. Несомненно, ответил распорядитель. Если он действительно танцор, добавил мэр, тогда это последний выход. Когда мы уходили с бала, вместе принялись танцевать два деревенских старика. Оркестр заменили проигрывателем. Мы пригласили братьев к себе. Уриэль носил обручальное кольцо, я спросил, чей он муж, и тот ответил, что он муж света. Я уснул в содомии.

Нас с Фернаном разбудил сын Донатуса. Было рано, мы не проспали и пяти часов, братья вели нас на прогулку. Мы поднялись на террасу, чтобы позавтракать, солнце светило прямо в лицо. Сын Донатуса листал цирковую программку и вопил каждый раз, когда ему попадалась фотография маленькой девочки, дрессировавшей пони. Мы отправились в путь. Кутили еще не проснулись. Мы оставили позади деревню, спустились в долину, пересекли несколько речек, шли по грязи и, чтобы ее миновать, по бревнам и доскам, каждый раз Фернан протягивал мне руку. Мы добрались до домика, который подновлял Донатус и где он собирался жить с братом два месяца, что-

бы построить террасу и укрепить разрушенную паводком плотину. Фернан поймал в умывальне жабу. Он говорит мне, что собирался заставить меня съесть ее живьем, не разжевывая. Но он, скорее всего, поцеловал жабу, и та обратилась в тучную девушку, что сопровождала нас на бал. Мы склонились над бассейном, чтобы сквозь прозрачную зеленоватую воду понаблюдать за раздутой самкой, прилипнув к которой бесконечно долго опорожнялся извергающий семя самец. Пытаясь поймать еще одну жабу, Фернан заморозил в воде руку, и я массировал ее, пытаясь отогреть окоченевшие вены. Двое братьев сидели бок о бок на деревянной доске, их прорисованные солнцем профили, их руки были прекрасны. За нами увязался беспородный пес, он оголтело носился, прыгал на нас, пачкая нам грязью брюки, и кусал ребенка. Фернан принялся его гипнотизировать, сильно сжал морду руками и держал их, пока пес не упал бездыханным. Вспыхнул пожар: сначала это была всего лишь взорвавшаяся в кроне дерева прямо над нашими головами ракета, потом стучавший вдалеке по веткам зеленый дятел, и, наконец, поднявшиеся над холмом огни. Мы хотели прийти на помощь, но это были костры мерзких прохиндеев.

Пора было уезжать, садиться на корабль. На пристани приятель Фернана говорит, что забыл дома красный шарф, он оставлял его мне. Сам он нашел его в складной дорожной сумке, уходя с конечной станции; он им дорожил. Фернан совсем не умел прощаться. Однако пока корабль удалялся, он снял шейный платок и привязал его к мачте, чтобы тот еще был виден, когда собственный его силуэт пропадет, пусть мой взгляд различает еще какое-то время это колебание в воздухе.

Вернувшись, мы сразу увидели шарф и бросили его в печку, взирая на кремацию красной шерсти до тех пор, пока едкий синтетический дым не прогнал нас из комнаты. Фернан сказал мне, что напишет рассказ, который будет называться «Донатус и его брат», я прокричал ему, когда он был уже на корабле, чтобы он отправил мне копию, если закончит. А сам я набросал пять страниц записей для рассказа, который мог бы зваться, – я еще в точности не решил, – «О мгновениях благодати» или «Сопоставленные наблюдения». Но я сообщил эти названия Фернану, поскольку речь шла о его собственном наблюдении, и он нашел их отвратительными. Еще больше, чем рассказ, я хотел написать ему письмо.

Фернан уехал, и я оставил нашу спальню в темноте и холоде, хотя сказал ему, что буду спать в ней. Взглянув на нее по пути в ванную через приоткрытую дверь, я прошел мимо. Фернан уехал, благодать длилась, его отсутствие делало ее немного более меланхоличной. Мы попрощались с братьями, свет покинул пейзаж. Я хотел сфотографировать Уриэля с завязанными глазами и вытянутой рукой, в которую брат кладет жабу. Но мы не возвращались в умывальню, и я начал представлять другие снимки: Уриэль в долине перед летней резиденцией дворян расчесывает волосы. Он собрал инструменты, широкие китайские чашечки для разведения красок, сделанные из подцвечивающего воду черного камня, кисти, что он, выдергивая волоски, смачивал во рту, прежде чем завернуть в фольгу, все эти коробочки с минералами и камедями, которые перевязывал, зажав веревку зубами, наконец, черный ящик акварелиста, на крышке которого скотчем был приклеен рисунок. Я с упоением смотрел, как он все это делает. Глядя на него, я ду-

мал: он был маленьким мальчиком, каждый день шел домой и присматривался к вещам, рисуя, или ничего не делал. Мы взяли с собой белую скатерть, много колбас и редкое мозельское вино, изготовленное из винограда, который должны были собирать ягода к ягоде и давить чистыми руками, – это вино мы прятали от Фернана, собиравшегося продемонстрировать нам, что такое предательство. Донатус приметил место для пикника, нужно было вновь отправляться в путь. Уриэль протянул мне ящик для красок, и ладонь моя познала радость оказаться в том самом месте, где лежала на дереве его ладонь, и с гордостью вернуть ему ящик, согретый моим теплом. Мы расселись вокруг скатерти, чокнулись, затем подняли в сложенных вместе руках песий череп, который Уриэль повсюду таскал с собой. На освещенной закатным светом прогалине слышалось тихое электрическое потрескивание фонарных столбов, и это было словно некое приношение. Участвовали мы как-либо в этой красоте? Сверхъестественное казалось естественным для тех, кто нам его доставлял. Согласились бы мы впредь одаривать нашим естественным, словно было оно чем-то невероятным?

45

Мысль Фернана была навязчива: любовь для меня – сознательное наваждение, переменчивое решение, которого я еще не принял. Вечером двое братьев вернулись, чтобы попрощаться с нами, Уриэль принес тетрадь с рисунками. Нарисованные им лица были полны неприязни, и мы предпочли исподтишка перевести взгляд на листавшие страницы пальцы. Прекрасна была плоть, не бумага, на которой она снова и снова оставляла незаметные следы, бумага эта еще сохранится, когда плоти уже не станет. Я заметил взгляд Донатуса,

пока брат восхищался его рисунками: благородная рассеянность, близкая к высочайшему смирению. Он отказался быть художником, и это нисколько не походило на поражение. Он посвятит себя астрологии.

46 Снова один, я почти весь день протаскался по зоопарку Рима, ища во всех клетках, водоемах и вольерах взгляд Фернана. Отыскать его было невозможно. Я отправил ему открытку. Вернувшись в Париж, я вбил себе в голову написать этот рассказ. У меня было безумное желание использовать это прошедшее совершенное, слишком быстро проявившееся в настоящем, изобразить себя в его протяженности было своего рода умерщвлением. И снова письма, которые я неблагоразумно писал ему каждый день, опережали рассказ. Именно в них излагался рассказ истинный. Но, дабы заставить рассказ выжить, письма истощали чувства. И я знал, что Фернан мог их выбросить, не распечатывая, или мять в руках, скатывая шарики, складывая бумажных птичек или самолетики, как если бы это была лишь чистая, неисписанная волшебная бумага. Волшебная бумага, которую покупают у пиротехника, — это сложенные безвредные листики, что бросают в лицо врагам или маленьким детям, дабы их поразить, она вспыхивает, ярко сверкая, и тает, не оставляя следов. Мы растратили ее в Рождество. Однажды ночью я в первый и последний раз позвонил Фернану. Я спросил его, получил ли он мои письма. Он отвечает очень спокойно: да, я их получил, но еще не читал. Несмотря на его грубость, я хотел вновь предстать пред ним наряженным возлюбленным, приближаясь как к высокопарной речи, так и к безмолвной тайне.

ГОЛОВА ЖАННЫ Д'АРК

В декабре или ноябре 19... года журнал отправил меня сделать репортаж о секретах музея восковых фигур. Директриса – недоверчивая, но любезная незамужняя дама – приняла меня в своем кабинете, служившем и библиотекой для персонала. Пока она рассказывала историю музея, я осматривал комнату: пюпитр с партитурами, несколько скрипичных футляров, метроном, чучело черной птицы, давно не открывавшиеся, как мне показалось, стеклянные створки книжных шкафов, на корешках не было ни одного знакомого названия. Директриса отвела меня в мастерские музея, где фигуры знаменитостей варились в бабьих, затем покрывались гипсом, где работницы втыкали в мягкий воск один за другим волосы и затем приступали к лицам; она открыла ящики с разложенными по цветам глазами, где стеклянные шарики с радужными обложками крепились на изогнутых стерженьках или были перевязаны попарно резинками. Она достала из коробок пряди натуральных волос, столь пышных, что можно было подумать, будто их отрезали у арестанток, однако, из ящичков не выскочило ни одной вши, каждый локон блестел, был расчесан и пронумерован. Наконец, она растворила в глубине мастерской вечно запертую дверь чулана, в котором хранили ненужные головы: убранные в плотные

пластиковые пакеты, стоящие на полках рядами, впритык, часто неузнаваемые, это были головы мужчин и женщин, утративших интерес публики, умерших, либо же устаревших чересчур быстро: главы государств и чемпионы, певцы, молоденькие и слишком красивые актрисы; они были обрезаны на уровне шеи; руки, если они и были, пустили на переплавку или заново использовали для новых фигур, массивные туловища отправили на лом. Иногда для новой сцены требовалось изготовить безымянную фигуру второго плана, и одна из работниц открывала комнатуху, дабы почти наугад, приподымая пластик, выбрать из нескольких десятков подходящую голову вышедшего из моды персонажа, которую можно было немного подправить, обновить, почистить, нарумянить, убрать лишние украшения или, наоборот, украсить, дабы изменить прежние черты. Я попросил директрису развернуть для меня несколько экземпляров, тоже наугад, ибо требование предъявить все, как мне хотелось, прозвучало бы невежливо. Таким образом я увидел Брижит Бардо и Мао Цзэдуна, чье слишком узнаваемое лицо избежало переделки, певицы, волосы которой испортила моль, и чемпиона, погибшего, когда он спасал ребенка. На нижних полках угадывались неразобранные туловища, и я обнаружил юных фавнов с пушком на ягодицах, флейтистов, ухмыляющихся рогатых полукровок. Я все не решался уйти и, рискуя совсем довести директрису, попросил показать мне еще одну голову, последнюю, вон ту. С ней нужно было обращаться осторожно, поскольку она не крепилась на обычной деревянной подставке, входившей у остальных голов прямо внутрь, эта голова была столь непривычно запрокинута назад, что ее невозможно было поставить, сохранив

равновесие, нужно было, рискуя ее разбить, поддерживать голову с обеих сторон возле висков. Но дело оказалось даже не в этом: на пластиковом чехле не значилось никакого имени, он был туго затянут веревкой. Наконец, в коконе пыли стало различимо лицо: оно было одновременно и женским, и мужским, а, скорее, бесполом или наделенным всевозможными чувственными чертами, это было не простое лицо, а сублимация, запрокинутая голова вызывала ассоциации с мольбой или языками огня, или голосом свыше. Это была Жанна д'Арк. Почему ее убрали из сцены? Одно ухо оказалось сильно повреждено, может быть, из-за этого, но существовало много сцен, в которых она участвовала: похожей на мальчика девушкой в деревне, затем святой, приносящей себя в жертву; по-видимому, в представленных сценах не было ни одной копии этой головы, – в принципе, у каждого персонажа имелся несовершенный дублер, замещающий оригинал на короткий период, требовавшийся на очистку от пыли, мытье волос и восстановление потекшей краски, – к тому же некоторое количество голов отправилось в посвященный святой музей Руана. Вероятно, это была та самая голова, что фигурировала во время создания музея в сцене с монументальной белой лошадью в большом зале, где одетая в доспехи Жанна поднимает флаг, однако на воске не осталось ни одного отпечатка стального ошейника лат, и изгиб шеи был менее заметен, нежели тот, что запечатлен на старом снимке. Мне сразу захотелось подержать эту голову, поцеловать ее, как она мне повелевала; это было недопустимо, на меня смотрели, я подозревал, что над моим смятием смеются. Возможно ли приобрести эту голову, дабы обожать ее в безмятежности?

Нет, музей не уступал своих творений, эта голова необходима на случай, когда потребуется срочно создать новую сцену, – я горестно представлял себе бойню, – а согласились бы ее продать, назначив высокую цену? Видимо, ее следовало украсть. Но еще не время. Мог бы я хотя бы вернуться еще раз, чтобы ее сфотографировать? На это мне милостиво дали согласие.

50 Я предстал во второй раз перед головой и, несмотря на препятствия, сделал снимок, на котором изображался поцелуй. Но я мог поцеловать ее всего раз: одна из мастериц, держа голову, была моей поспешницей, в то же самое время пытаюсь меня образумить; ее спокойный и отвлеченный взгляд пресекал любое заявление, любое возбуждение. Я сразу же напечатал единственную фотографию, показавшуюся мне на контактном снимке весьма контрастной: она оказалась вся в царапинах. На негативе я обнаружил прескверную штриховку, практически необъяснимую, глупую. И тогда я отправился к специалистке по ретуши, как будет видно, кудеснице или врачевательнице от порчи. Она вернула мне шедевр. Тусклый шедевр по сравнению с бесподобной моделью, чье мнимое постоянство вместо утешения и уверенности вызывало лишь жалкую досаду и отвратительный страх.

Следовало подумать, как спасти голову: позади комнатухи была еще одна дверь, ведущая на чердак над сценой, где среди тросов и балок работал в халате старый механик, занимавшийся освещением и передвижением декораций зеркального дворца, одной рукой он нажимал на кнопки, другой держался за рычаги; то и дело он начинал носиться по доскам, дабы дернуть трос светящейся

бабочки, защемившей крылья в лесных ветвях, пока зрители внизу уже пытались ее изловить; когда представление заканчивалось, он пил бульон и засыпал на краю пропасти, укутавшись в несколько пальто, свернувшись клубочком прямо под осветительными приборами и сжав в руках тряпичную куколку. Неужели его стоило уговаривать и обманывать? Может, лучше было бы совратить директрису?

51

Вышла моя статья, и я решил этим воспользоваться. Мои описания ее пленили, я говорил о ней лукаво и льстиво. Мы снова увиделись, она со мной разоткровенничалась. Она была внучкой основателя музея, ее властная мать, несмотря на преклонный возраст, еще навевалась в него, командовала в мастерских и истребляла все, потакая собственным капризам, она изуродовала старинное зеркало, повелев покрыть раму отвратительной золотой краской, настойчиво требовала педантичных реконструкций пышных групповых сцен из журнала «Точка зрения: картины мира», и упорно громила композиции, исполненные болезненного изящества. С детства окруженная пресным запахом плавящихся свечей, она ненавидела воск и обильно поливала духами одежду, дабы отбить его запах. Больше всего она питала отвращение к воску за его примечательное свойство изображать человеческую плоть; слишком похожая на оригинал восковая голова вызывала в ней неимоверный страх, и она нанимала самых бездарных скульпторов, дабы те ваяли грубые пародии. Она следила за работницами, чтобы те как следует подкрашивали скулы красным и делали на головах современные прически, она ничего так не страшилась, как внезапно проявляющегося

сходства восковой фигуры с покойником. Она распорядилась опустошить все подвалы, где показывали слишком впечатляющие реконструкции пыток первых христиан.

52 После смерти мужа она жила вдвоем с дочерью, еще у нее был сын, которого она назначила директором: он управлял предприятием с твердостью и неопределенной, резкой сухостью, проглядывавшей в лице слишком быстро постаревшего юноши. Его изможденная фигура, облаченная в один и тот же костюм, походила на вечно отсутствующую и при этом вездесущую тень. Рядом с такой царственной матерью и братом с узкими губками, – дочь, тоже чересчур скоро состарившаяся, без любовника, – сохранила некую свежесть и легкомыслие, вовсе не нравившиеся ее семье. Дабы к ним приноровиться, ее считали немного с приветом и потихоньку следили за корешками чековой книжки, перемещениями, знакомствами и договорились с нотариусом, чтобы ее часть наследства перешла прямо к племянникам и племянникам, не попав в слишком легкие руки. На самом деле она пережила запоздалую и безрассудную любовь к молодому человеку, выдававшему себя за музыканта, который принялся ее разорять, отправившись с началом музыкального сезона в круизы, и разорявшему до тех пор, пока ее брат не сцапал его за шею. Она читала романы и играла на скрипке. Зрение ухудшалось. Брат требовал, чтобы она прекратила смехотворные представления, которые устраивала, переодевшись маркизой, на сцене музейного театра, стоя среди восковых подобию именитых персонажей и играя на скрипке, пока повязанная вокруг шеи лента не рвалась из-за набухших жил.

Одна из сцен музея пленяла меня с самого детства столь сильно, что я вжимался животом в перекладину удерживавшего меня железного ограждения: она демонстрировала Людовика XVII в темнице Тампль. Оживший кошмар вздыбливал его тело на окруженном крысами бедном походном ложе, оголенная шея выпрастывалась из разорванной белой рубахи, материя которой словно была продолжением простыни и буравила белизной мрак, где вырисовывались бородатые хари, истязатели и разносчики хлеба, за которыми проворно шныряли крысы. Холод железной перекладины медленно проникал сквозь непромокаемое пальто и свитера, добираясь до моего живота.

Однажды утром, когда директриса позволила войти в закрытый музей и вдруг порывисто спрята-
ла меня позади колонны, дабы не столкнуться с наведавшейся инспектировать его матерью, чью поступь она распознала, я, оказавшись, наконец, в одиночестве на подступах к картине, перешагнул ограду и пошел целовать Людовика XVII. Любил я его столь безумно, что поддался искушению высвободить из пут, связывавших каменные бедра (покрывало позволяло показать фигуру вплоть до талии), и запустить руку под пластрон, чтобы посадить себе на спину и увлечь к месту казни, когда чересчур близко пустила звенеть по плиточному полу ведро одна из уборщиц.

Лишь много позже, спустя годы, еще точнее, несколько минут назад, когда я писал это, я понял, что голова Жанны д'Арк и голова Людовика XVII были одной и той же, что обе они были отлиты по одной модели, по модели юноши, подмастерья, имени которого я не ведал, столетье тому назад.

Вот почему невозможно было отыскать эту голову Жанны д'Арк ни в одной из здешних сцен, ни в посвященном святой музее Руана, пусть и были они, уничтоженные, сохранены на снимках. Эта голова могла оказаться поврежденным оригиналом или дубликатом слепка Людовика XVII, но из-за оплошности в описании венценосное дитя попало на лужайку, услышало там голоса, а потом взошло на костер.

54

Я не переставал зариться на голову и говорить о своем желании директрисе музея, с которой у меня сложились прекрасные отношения. Каждый раз она просила меня набраться терпения, ее взгляд более не омрачался, когда я переходил в разговоре к этой навязчивой идее. Она хотела вначале удостовериться, что слепок головы хранится в подвалах музея: та литейная форма с выступами внутри, что однажды могла бы воспроизвести нужные черты, если туда вновь залить воск. Все ее усилия оказались напрасны: это была одна из немногих утраченных форм (теперь можно вспомнить, что искала она Жанну д'Арк вместо Людовика XVII). Она предложила мне заказать у формовщика слепок и затем залить его тонким слоем воска, чтобы получилось подобие маски. Я отказался. И я опасался, что какая-нибудь работница случайно выберет голову, начнет ее реставрировать, принаряжать и тем самым изуродует. Директриса признала: мое желание столь сильно и твердо, что было бы справедливым, если бы я добился от нее, чтобы она сберегла голову от подобного риска: нарочно безразличным тоном она дала некоторые указания, позаботилась о планах на переливку и в итоге совсем спрятала из виду голову в глубине полки позади многочисленных

рядов наперсниц. И все равно я дрожал. В конце концов, я убедил ее, что нужно украсть голову, тем более что ее брат сухо отверг ее доводы.

Она призналась мне, что сразу же отдаст мне эту голову, если все дело лишь в ней, но ведь речь шла и о ее религиозном чувстве и опасениях: она каждую неделю ходила в церковь, а в подобном похищении не так-то просто исповедоваться. Мое вождение, в конце концов, привело к тому, что я наделил голову чем-то священным, тогда она постаралась отвлечь меня, предлагая другие головы, которые охотно могла бы стащить, ведь эту, украсть эту она неспособна. Я догадался, что могу подвести ее к тому, что хочу, еще вот-вот, и желание исполнится: однажды, когда мы были в мастерской одни, я спокойно взял восковую руку и разбил у нее на глазах.

55

Распорядившись, чтобы починили руку, она допустила промах, работницы принялись подтрунивать: они знали, что ее предусмотрительность не допускала подобной оплошности. Она предложила мне круизную программу, затем сезон в Зальцбурге, я отвергал все это, как и приглашения вместе поужинать. Однажды ближе к вечеру, когда мы должны были отправиться за покупками, довольно необычными, поскольку речь шла о том, чтобы взглянуть и посравнить у двух братьев-скалыг унаследованные ими стеклянные глаза, я услышал возле полураскрытой двери беседу: администраторша музея отказывалась выдать ей незаполненный чек, у нее самой на деле не было никакой чековой книжки, ей дали понять, что после известной истории ей могли оставлять лишь скромную сумму наличных

денег. Братьев дома не оказалось, почуяв торг, они не открыли дверь; я взялся описывать ей похищение головы Жанны д'Арк. Было столь вероятно, что она поверит в него, так что я добавил разных деталей.

56 Нужно было проникнуть в музей вечером, когда бы мы не могли никого встретить, кроме ночного сторожа, весьма преданного, которого денежная купюра сделала бы немым. Нам следовало запастись большой сумкой, чтобы положить в нее голову; плюс ко всему это служило поводом для ужина. Она с такой уверенностью говорила о том, что мы заберем голову с собой, что я тотчас же отправился разоряться к антиквару, дабы подарить Жанне самый красивый пьедестал: черную египетскую подставку с инкрустированными изображениями цариц. Времени оставалось лишь на то, чтобы антиктар принес подставку мне домой, и я сразу помчался в музей. Было поздно. В окаймляющем музей крытом пассаже я встретил поднимавшего ворот плаща художавого брата, он узнал меня и нелюбезно приветствовал. Стало быть, он мог бы свидетельствовать, что видел меня этим вечером в такой-то час. Ночной сторож казался озадаченным: нет, мадмуазель здесь нет, она уже давно ушла, никаких сообщений не оставляла. А она вернется? Это маловероятно... Я ждал ее в течение часа, ходя взад и вперед под наблюдением сторожа меж уродующих зеркал холла, где посетители падают на сиденья, расхохотавшись. Мне стало грустно, неожиданно сторож решил, что я самозванец, и прогнал меня. Голодный, я отправился смотреть на слишком поспешно купленную подставку и обнимал поддерживаемую ею пустоту.

На следующий день лукавая бестия объявилась по телефону: не стоит-де мне так унывать, случилось всего лишь недоразумение, операция состоится сегодняшним вечером, плюс ко всему, более разумно, если она провернет все сама, она зайдет ко мне, конечно же, и принесет голову; мое нетерпение уже вызывало у нее смех.

Голова, которую я не видел четыре года, вновь оказалась передо мной в ворохе падавшей, словно снег, защищавшей ее белой бумаги. До последнего момента я думал, что мне принесут другую. Но это была она, своей улыбкой она скрепила четыре года лести, целью которой служила, упрочив нашу привязанность. Директриса сказала, что я должен собирать остающиеся каждый день в карманах пятифранковые монетки в специальный мешочек. Когда мешочек наполнится, она отнесет его в церковь, чтобы искупить наш грех. Сегодня голова, сохраняя хрупкое равновесие, покоится на подставке в моей гостиной. Я более ее не целовал, и ее присутствие столь привычно, что я ее не замечаю. Однако я вижу, что она пугает собак и стесняет любого гостя. Я по-прежнему не хочу убирать ее в шкаф, и достаточно случайно сдвинуть ее на миллиметр, чтобы она разбилась. Я говорю себе, что у этой головы не будет никакой истории до тех пор, пока она не исчезнет.

ТАЙНЫ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

58

Когда речь зашла о трепанации, специалист сказал: никогда не прикоснусь к этому мозгу, это было бы преступлением, у меня возникло бы ощущение, что я покушаюсь на произведение искусства, калечу совершенство, сжигаю шедевр, затопляю ландшафт, равновесие которого требует сухости, бросаю гранату в безупречный термитник, царапаю полировку бриллианта, уродую красоту, стерилизую плодородие, перекрываю протоки всякого творения, каждый взмах лезвием был бы преступлением против разума, любое вторжение железа в эту божественную совокупность стало бы аутодафе гения; только варвар, невежда, враг мог бы совершить подобное злодеяние! Враг существовал. Изучая три области повреждения, видимые на снимках сканера, он саркастически заявляет: как можно оставить гнить такой ум? Нужно вскрывать. Этот ум разоблачил его, лично, не называя имени, но выступая во многих книгах против всей его обманной системы. Человек ума бранил человека закона – врача, судью; философ кончил тем, что заподозрил собратьев в косности мысли; он пытался обнаружить в их текстах точное место расхождения, едва заметного и потому столь коварного, в котором слово верное, рожденное разумом, лишь немного отходя в сторону, из-за неправильного употребления могло превра-

титься в слово неверное, угнетающее. Хирург был горд напасть на подобную твердыню, тем более, что объявлял ее авторитет необоснованным; человеческая голова, говорил он ассистентам, это всегда лишь мякоть, фарш. Однако, когда купол вскрыли, он был ослеплен могущественной красотой, исходившей от явленной субстанции; его речи оказались сплошной спесью, нож выпал из рук; узревшему, ему оставалось только лишь созерцать. Мозг не был простым мягким орехом с многочисленными необъяснимыми извилинами, но обильной светящейся страной, обездвигить которую анестезии не удалось, и каждый феодал продолжал дела – сохранение, соединение, составление диаграмм, перемещение, построение преград, очищение; три башенки обвалились, это было хорошо видно, но повсюду вокруг по бороздкам продолжали течь золото мыслей и их переливчатый смех. Виднелись и более заметные жилы, где шли всевозможные виды старых, пакостных, разваливающихся вещей, сторожевые тюремные вышки, тиски для пыток; и все же, казалось, кнуты сверкают как королевские жезлы, а кляпы из тряпок стали кусками королевских мантий. На поверхности изобличенные слова отсвечивали насмешкой; и не столь важно, какой неприятный запах они испускают, тот растворялся в общем благоухании. Если немного углубиться, можно отыскать галереи, заполненные сбережениями, запасами, тайнами, детскими воспоминаниями и неизданными теориями. Детские воспоминания запрятаны глубже остального, дабы не наткнуться на тупость интерпретаций, многозначное плетение огромного лживо светящегося полотна, которое должно было закрывать творение. В секретных эликсирах его сосудов содержалось два

или три образа, походившие на жуткие диорамы. Первая показывала философа, когда тот был ребенком, и отец, работавший хирургом, вел его в операционную больницы в Пуатье, где мужчины ампутировали ногу, – вот как воспитывали в мальчике мужественность. Вторая являла взору маленького философа, ходившего каждый день мимо вроде бы обычного заднего двора, окруженного, однако, ореолом будоражащих происшествий: именно здесь, на соломе, в подобии гаража десятки лет жила та, которую газеты прозвали узницей Пуатье¹. Третья представляла набросок истории; персонажи кабинета восковых фигур, приводимые в движение спрятанными под одеждой механизмами, должны были ожить: лучший ученик в лице, маленький философ оказался в опасности из-за внезапного и поначалу необъяснимого вторжения банды нахальных маленьких парижан, конечно же, более одаренных, нежели все остальные. Свергнутый с престола, ребенок-философ возненавидел их, проклинал, призывая на их головы всевозможные беды: еврейские дети, укрывшиеся в провинции, в конце концов, исчезли, увезенные в лагерь. Эти тайны погибли бы, уйдя на дно вместе со столь терпеливо, столь пышно убранной Атлантидой, внезапно разрушенной ударом молнии, если б в то же самое время некое

1 Речь об известном во Франции судебном процессе по делу 52-летней Бланш Монье, которая из-за несчастной любви и невозможности брака была заперта матерью и, утратив рассудок, жила в полной изоляции около 25 лет. О ее домашнем заточении узнали в мае 1901 года, место ее обитания было овеяно слухами; история Бланш освещалась писателями, в том числе А. Жидом, выпустившем в 1930 году, когда М. Фуко было 4 года, книгу «Узница Пуатье»

признание в дружбе не заронило неясной и зыбкой надежды на их передачу...

Одна за другой оказались под угрозой крепости: запас имен собственных опустел. Затем могла вот-вот подвергнуться разрушению память: он сражался, чтобы не дать чуме довершить подковы. Само существование его книг будто развевалось: что он написал? И писал ли вообще когда-либо? Иногда он больше не был в этом уверен. Книги, служа свидетельством, находились здесь, в его руках. Однако же книги не были им самим, однажды он это написал и еще вспоминал об этом: что книга – не человек, что меж книгой и человеком существовала еще работа, устранявшая их отождествление и порой разводившая их в разные стороны, словно врагов. Но так ли он написал? Он не решался вернуться к самому тексту, боялся оказаться непричастным к нему, как если бы стал слабоумным. Так что он писал и переписывал на клочке бумаги собственное имя, а ниже выводил чередующиеся ряды квадратов, кругов и треугольников согласно методу, который должен был использовать, дабы удостовериться в твердости рассудка. Когда в палату кто-нибудь входил, он прятал листок бумаги.

61

Ему было нужно закончить свои книги, ту самую книгу, которую он писал и переписывал, уничтожал, отвергал, уничтожал вновь, переосмыслял, воссоздавал, сокращал и расширял в течение десяти лет, эту нескончаемую книгу о сомнении, о возрождении, о величественной простоте. Его соблазняла мысль уничтожить ее навсегда, одарить врагов их глупым триумфом, дабы они могли разносить слухи, что он больше не способен

написать книгу, что давным-давно рассудок его померк, что его молчание было лишь признанием поражения. Он сжег и порвал все черновики, все доказательства работы, оставил на столе бок о бок всего два экземпляра, другу он повелел уничтожать все остальное. У него было три абсцесса в мозге, но каждый день он продолжал ходить в библиотеку, чтобы сверять записи.

62 У него похитили его смерть, у него, который хотел быть ее владыкой, у него похитили даже правду о его смерти, у него, который был владыкой правды. Самое главное было не произносить названия чумы, в реестре смертей название будет сокрыто, прессе предоставят лживое официальное сообщение. В то время, когда он еще дышал, семья, всегда считавшая его парией, забрала к себе это больное тело. Врачи вели малодушные разговоры о составе крови. Друзья больше не могли его посещать, если только не прорывались силой: он видел вместо них неузнаваемых существ с волосами, убранными в пластиковые чехлы, с ртами, скрытыми маской, с обернутыми ногами, с руками в перчатках, воняющих спиртом, в которые запрещали брать его руку.

Все крепости рухнули, кроме крепости любви: то была неизменная улыбка на губах, когда из-за бессилия он опускал веки. Если бы он сохранил лишь единственный образ, это была бы их последняя прогулка по садам Альгамбры или лишь его лицо. Любовь продолжала целовать его в губы, несмотря на чуму. И до самой смерти он сам вел все переговоры с семьей: он выторговывал право выбора похоронной одежды ценой вычеркивания своего имени из официального уведомления.

Он подарил этой сволочи покрывало, под которым они обнимались и которое было частью приданого его матери. Вышитые инициалы могли иметь и иные смыслы.

При выносе тела на заднем дворе морга было полно цветов: венки, букеты, от издателей, от учреждений, в которых он преподавал, от иностранных университетов. На самом гробе возвышалась небольшая пирамида из роз, из которой выбивалась лента фиолетовой тафты, показывавшая и в то же время прятавшая буквы трех имен¹. Гроб путешествовал весь день, из столицы в загородную деревню, из больницы в церковь и из церкви на кладбище, он переходил из рук в руки, но ни разу пирамида из роз, обертка которой не была ни прикреплена скобками, ни приклеена скотчем, не съехала с места. Множество рук пыталось ее куда-нибудь переложить. Либо эти руки сразу же повисали в воздухе от нерешительности и, в конце концов, передумывали, либо протягивались другие руки, которые мешали это сделать. Могушественное сокровенное повеление держало на гробе пирамиду из роз с тремя именами. Когда гроб осторожно поставили над могилой, мать спросили, следует ли убрать цветы, и она, – та, что не плакала, – сделала жест оставить их на гробе. Записку, которую неизвестный положил при выносе тела, также не взяли, не поинтересовавшись, была ли она признанием в любви или письмом с оскорблениями, срезанные цветы ее утаили. На расстоянии стоял таинственный высокий молодой человек в черной куртке на голых плечах, в темных очках,

63

¹ Одна из реальных деталей. На ленте были написаны имена Матье Лендона, Эрве Гибера и Даниэля Дефера.

сопровожаемый несуразным стариком, который мог бы быть его отцом, слугой или шофером; они перемещались из столицы в деревню, из морга в церковь, из церкви на кладбище в изящной двухместной спортивной машине. Я никогда прежде не видел этого юношу и, когда он, не снимая очков, бросил после меня цветы в могилу, я внезапно его узнал и подошел к нему, я спросил: ты Мартин? Он мне ответил: здравствуй, Эрве. Я сказал: он всегда хотел, чтобы мы встретились, и вот. Мы обняли друг друга и, может быть, в то же самое время обняли и его возле могилы.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

4 марта, двадцать часов сорок пять минут, я в мастерской один, деревянным концом кисточки похлопываю наложенный поверх иконы листок золота, раскат грома, и золотинка, шелестя, отстает от большого пальца, сморщивается в шарик, мой взгляд не может его удержать, первый толчок длится несколько секунд, икона упала к стене, в стене возникает трещина, в которой виднеется сад, мне не схватиться за ручку двери, она отходит назад, паркетный пол скользкий, мастерская дрожит, становится совсем маленькой, и в тот момент, когда я оказываюсь в саду, всегда возвышавшееся надо мной четырехэтажное здание обращается в столб пыли, небо красное, я трижды пытаюсь перешагнуть ограду, в конце концов обнимаю-таки ходившее из стороны в сторону ускользавшее дерево, обвиваю его, оно крутится вокруг оси, второй толчок подбрасывает нас метра на полтора над землей, я не жду третьего толчка, чтобы счистить с себя сочившуюся на коре смолу, оседающее позади меня вишневое дерево могло бы меня раздавить, я отправляюсь через весь город посмотреть, жив ли Венсан, я иду спокойно, держа голову высоко, дабы определить, что еще не рухнуло, временами смотрю под ноги, дабы не попадать в расщелины, поначалу никого не видно, затем люди выходят из домов, многие

строения обвалились на машины и автобусы, не слышно ни одного крика, чей-то отец возвращается с работы и на месте прежнего дома не отыскивает ничего, лишь подушку сына, которую, остолбенев, не проронив ни слезинки, мнет в руках, взрываются газовые трубы, вспыхивает огонь, в воздухе по-прежнему висит алеющая пыль, день померк, ночь откладывается, бегают потевшие собаки, я надеюсь, что четвертый толчок сметет все, включая меня, ноги двигаются с незнакомой самоуверенностью, я не могу представить даже лица Венсана, я не представляю ни того, что он погиб, ни того, что выжил, кажется, ноги сами знают дорогу, по которой обычно направлялись автомашины, дабы доставить мне его тело, находящиеся непонятно где громкоговорители объявляют чрезвычайное положение, военные будут пристреливать мародеров на месте, но они уже тут, они вползают и ломают, они пробиваются внутрь, они роются в обломках, набивают карманы и сумки, их проклинаят, но не мешают им, будто они не имеют отношения к реальности, они ищут драгоценные камни и готовы срывать их с трупов, на них даже нет масок, они бесстыдны, они настоящие ангелы, мост на окраину города, где жил Венсан, разрушен, я должен сделать большой крюк, чтобы добраться туда, проходя сквозь то разоренные, то нетронутые кварталы, город похож на шаткую сцену, окаймленную театральным задником с малорослыми домиками, я погружаюсь во все больший ужас, в канавах скапливаются кучи трупов, звери обезумели, они носятся и вопят, как попало спариваются, гиены пытаются совокупиться со стрекозами, здания, в котором жил Венсан, больше нет, ибо квартала, в котором оно стояло, тоже не существует, это пучина кру-

жащейся пыли, мужчины в рабочих комбинезонах выбираются оттуда ползком, приехал ковш, экскаватор разбирает строительные завалы, повсюду рыскают цыгане с огромными узлами, я поднимаю голову, дабы воссоздать в пространстве пятый этаж, бывший местом стольких объятий, я шел, не замечая времени, ночь напролет, лавки с напитками закрыты, я не заметил, что была ночь, она настала и кончилась, утреннее солнце печет слишком сильно, земля похожа на раскаленную сковороду, жар от нее растет, не переставая, я подхожу к моргу, холодильники забиты, равно как вестибюль и административные помещения, которые тоже переполнены трупами, в саду расстелили брезент, на него выложили разрозненные фрагменты, руки, ноги, ступни, голые или украшенные, одетые части тел, среди которых топчется толпа в поиске сходств, особых примет, чего-то знакомого, толпа, в которую я просачиваюсь и которая, как и я, хотела бы узнать фамилию на браслете, кусок ткани, шрам, бородавку, или просто-напросто ощутить нежность от прикосновения к чему-то мягкому, шелковистому и без причины украсть найденную часть тела, завернуть ее в кусок газеты, чтобы поджарить или сгрызть подальше от чужих взглядов, все начинается жутко вонять, слышится запах подслащенного дерьма, карамелизированной крови, обжаренных в сахаре субпродуктов, солнце, подпаливая брезент, печет, словно мангал, от запаха у меня перехватывает в горле и подкашиваются ноги, рабочие морга приносят баллоны с фенолом, чтобы опрыскать трупы, я знаю, что не мог бы распознать среди всех этих частей тел ничего, что могло бы принадлежать Венсану, и, если бы я заподозрил в чем-то сходство, то плюнул бы на означенную

часть и пошел бы своей дорогой, но меня толкают, сжимают со всех сторон, и я вынужден топтаться на месте, я мог бы силой выбраться из толпы и уйти прочь, но нескончаемая прогулка приносит мечтательную негу, солнце становится почти нежным, зловоние почти восхитительным, части тел уже не помещаются на брезенте, и прелестные обрезки девочек и мальчиков покоятся на свежей траве, вот где хотел бы я преклонить колени или же свалиться в обморок, вот что хотел бы топтать и давить, словно нечаянно, дабы унести с собою нечто на подошвах ботинок; перекрещиваясь в бесконечном лабиринте, две длинных людских очереди почти дерутся, проклиная друг друга, словно колонны врагов, они ломают ноги, не желают замечать друг друга и раздают тумаки, в эту минуту совсем близко мне видится смеющееся лицо Венсана.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ МИРА

Окулист сказал Донатусу, что он всегда видел лишь три четверти мира. То же касается и его лица, он видел такую же его часть, если, стоя перед зеркалом, инстинктивно не выгибал шею, дабы устранить недостачу. Проблема была в мешавшей видеть всё полностью небольшой части правого глаза, как если бы та была чуть зашорена или взгляд преграждала небольшая цементная стенка. Был ли это врожденный изъян или же своеобразный физиологический знак отличия? Он не поинтересовался у врача и сказал себе, что этот человек мог просто сбивать его с толку. Никакой возможности лечения не существовало. Нужно было лишь время от времени вспоминать об этом, как в силу обстоятельств он до сих пор и делал, и в нужный момент чуть поворачивать голову, если вдруг начнет происходить что-нибудь неприятное. Он не сказал новости ни родителям, ни маленькому сыну, которого вез на велосипеде из горной Швейцарии, где жил, до самой Италии. Может быть, визит к офтальмологу был преждевременным, поскольку глаз его никоим образом не беспокоил, или даже своего рода очистительным, поскольку очень скоро на упомянутом участке велосипедного пути меж двух границ ему в глаз залетела соринка неизвестной природы, если только у нее не было такого предназначения, попав

в левый глаз и мучительно покалывая, стереть остававшиеся две четверти мира. Вынужденный прикрыть глаз из-за непрерывных нападков крошечной ростры, представлявшей ему стальной, он понял, что правый глаз позволял видеть перед собой весьма узкое пространство, не распространявшееся далее носа. Не зная об аномалии, он бы потерял голову. Он продолжал ехать прямо, а ребенок за спиной, которого дороге никак не удавалось вымотать, продолжал сосать соску. Монахи из «Христа Милосердного» сказали, что не могут ничего для него сделать и что он должен добраться до больницы в следующем большом городе, у них нет ни приборов, которые могли бы установить, что это за соринка, ни тех, что могли бы от нее избавить. Доехав до одного из городских предметов, он вдруг обнаружил, что катит среди военных машин: повозки и кареты скорой помощи выглядели столь непривычно и пугающе, что он решил – это из-за правого глаза. Одно из общественных зданий было взорвано. Врач сказал, что в глаз попала не сталь, а пшеница: кончик от усика злака, поспевающего как раз в это время года, с порывом ветра залетел в такую область глаза и на такую глубину по сравнению с радужной оболочкой, что видеть теперь что-либо стало невозможно. Пинцет, который, как могло показаться, принадлежит натуралисту и создан, дабы выпрямлять помятые надкрылья, подцепив кончик пагубного колоска, избавил тот от обретенного изыска, которую колосок снискал, словно драгоценное украшение, вонзившись в небольшую и столь жизненно важную частичку тела. Три года спустя не осталось ни единого следа от спасшей глаз операции. Однако эта история, рассказанная Донатусом Уриэлю, вызвала у друга необъяснимое волне-

ние: когда он смотрел на лицо, которое не видел два года, в его взгляде сквозил то пристальный интерес, то подлинное отвращение, а порой – дикое влечение. Уриэль, безусловно, заметил легкую и открыто проявлявшуюся вечером благосклонность, особенно после стакана вина. Теперь он удивлялся почти полному ненависти холоду своего утреннего взгляда: он видел в другом лишь бедное неприспособленное существо, довольно не сбалансированное, тяготимое, неуклюже двигавшееся, одежда которого была уродлива и зловонна, а небритое распухшее лицо бороздили уродливые рытвины. И вот вечером Уриэль решился на хитрость: собрался стащить у Донатуса часть вонючей одежды и с удивлением почувствовал, что запах ее приятен. Тем временем Донатус побрился, они выпили по бокалу вина, и Уриэль счел просто великолепным его затылок, от молочной белизны складок которого утром его мучило. То, что отвращение исчезло, одновременно лишило Уриэля эротической привлекательности, вызываемой им у Донатуса: оно было настолько необъяснимо, неистово, что каким-то непостижимым, загадочным образом откликалось во всем теле, в том, чего он не ведал, в том, что угадывал, и отвращение это было тихой фазой влечения, иначе же оно стало бы резким, агрессивным. Когда Донатус чувствовал, что он отталкивает, вызывает неприязнь, он становился ласковым; он закрывался, как только Уриэль хоть немного находил его соблазнительным. В этой постоянной синхронности вождения и антипатии была словно некая обоюдная жестокость. Вновь очаровываясь, – очарование его походило на заряжающуюся собственной энергией динамо-машину, – Уриэль еще упивался мыслью, что красота другого будет

заклучена, навсегда, лишь в его собственных зрачках, что она словно бы нарисована, что это неразличимая пелена, неотделимая от его собственных глаз, что, стало быть, это он ее изобретатель и единственный обладатель (и что поэтому его присутствие должно стать необходимым другому: что он будет последним человеком на земле, пред которым Донатус сможет встать на задние лапы). Может быть, это было всего лишь воспоминание о лице, которое вызывало восхищение два года назад? Уриэль видел, что эта красота оживает в его взгляде, что он дарил ей скоротечное возрождение, что она была, словно увядший цветок, который изуродовали, и поэтому он вдруг вновь расцветает. Были и другие утренние мгновения, когда его взгляд отказывался видеть даже малейший намек на красоту, когда он обрекал друга чахнуть. Как все это было странно! Если в такие минуты мысль его была неиссякаема, с губ, словно безмолвную брань, можно было собирать уничтожительные прилагательные, и, если возникал повод поэтически воспринять какие-нибудь слова или фрагменты очаровывающей его красоты, то он внезапно становился сухим и резким. Злобный болтун по утрам и немой влюбленный по вечерам. История с глазами тем более поразила Уриэля, что он был убежден, что с одного бока профиль Донатуса заставлял у него течь слюни, а профиль с другого бока вызывал горькое желание послать его подальше. Может, именно полуслепой оказывался красавцем или даже ясновидящим? В продолжение своей речи он задал этот вопрос Донатусу. Угадай, ответил тот. Уриэль, несмотря на усилия друга все замаскировать, прекрасно видел, что один глаз был, похоже, чуть поменьше, или вроде бы чуть неподвижнее, но,

может статься, это было лишь ловкое притворство того, кого он разглядывал. У меня не получается, – сказал Уриэль, – я ошибусь, скажи мне сам. Вот этот, – ответил Донатус, – указывая на правый глаз. Полумертвый глаз придавал профилю с правой стороны то преимущество, которого не было у профиля слева. А теперь скажи мне, – продолжил Донатус, догадываясь, что его лицо временами могло становиться то более красивым, то менее, – отойди чуть дальше, протяни ко мне руку и закрой ею сначала одну сторону моего лица, потом другую и скажи, отличается ли одна от другой. Это было очевидно: левая сторона, со зрячим глазом, выглядела живой, здоровой, пленяющей; правая сторона была почти некрасива: вялая, неестественная, без чего-либо, обозначающего так называемые черты характера. Эта помертвевшая половина лица, словно став более объемной и внезапно потеряв последний проблеск жизни, превращалась в великолепный профиль слепого, странным образом вдруг более эффектный, нежели пресный профиль с левого бока. Осознав это, Уриэль положил руку на бедро Донатуса. У тебя теплые руки, сказал Донатус. Затем Уриэль принялся ласкать его тело под одеждой. Мальчики ласковее девочек, сказал Донатус. Твои ладони божественны, и я приеду в Париж лишь за тем, чтобы ты ласкал меня... Самое странное в истории, что через сорок восемь часов после того, как эти слова прозвучали, Уриэль и Донатус расстались перед Пизанским вокзалом, не попрощавшись, зная, что больше не увидятся, каждый желал лишь одного – плюнуть другому в лицо. Они ненавидели друг друга. До поезда оставался целый свободный день. Уриэль снял на несколько часов девятый номер на втором этаже гостиницы «Виктория». Он расстроился,

когда обнаружил, что нельзя раскрыть полностью створки, чтобы увидеть Арно, он собирался сесть в кресло и подставить лицо бывшему прямо в окно солнцу. Он мог чуть приподнять створки железной киркой: в просветах проглянули пара колоколен и башенка, кажется, предназначенная для снятия метеорологических показаний. Он не прочитал ни строчки из книги, – другого багажа у него не было, – минувшей ночью он с трудом пытался осилить ее в течение трех часов. Он уснул. Внезапно солнце осветило все его лицо, проникнув сквозь единственный просвет, в который его было видно оттуда, где лежала подушка, и светило менее минуты по солнечному расписанию, и было оно почти столь же сладко и нежно, что и далекий шум грозы, который слышался ему двумя ночами ранее, когда он был убежден в достоверности и привязанности друга. Уриэль, по-прежнему распростертый, различил на расчерченном сумерками оконном стекле полоску полупрозрачного пара, за которым было достаточно еще света, дабы в совокупности с решетчатыми створками позади образовать нечто наподобие темного полотна, что призывало к себе его руку. Это выражение мидинетки он всем сердцем прочувствовал во время бессонной ночи: в одну секунду он понял, что сердце его разбито; так ваза бестолково покрывается трещинами из-за жары. Его пальцы вновь вывели имя Донатуса, которое они уже выводили на другом запотевшем стекле недавним днем ликования. Пальцы чудища добавили: *vai al diavolo*. Дело происходило в Италии. Однако требовалось, чтобы язык его ненависти был интернациональным, чтобы все разновидности демонов восприняли его пожелание. И он добавил еще: *geh' zum Teufel*, затем: иди к черту, *go to Hell*. Донатус ка-

тился по шоссе прямо навстречу разверстой могиле, когда вокруг машины завертелся снежный бурган. Уриэль спросил себя, не зовут ли этот вид створок, что невозможно раскрыть под прямым углом, а лишь повертеть в обе стороны, словом «жалюзи», он так часто путал слова. Он снова заснул. Пробудившись, он заметил, что сумерки, завершаясь, потихоньку стирали его судьбу, и свет меж стеклом и ставнями исчезал, оставляя непроходимое мутное полотно. Там было написано теперь лишь Teufel, затем вообще ничего. Уриэль посмотрелся в зеркало, он с беспокойством разглядел, что белый уголок глаза, который магнитом привлек острый кончик пшеничного колоска, увеличился и пожирает теперь глазное яблоко. Он принял горячий душ и освободил комнату. Дежурный администратор собирался сдать номер другому путешественнику, он сразу же отправил лакея сменить простыни и влажные полотенца. Уриэль подвинул занавеску поближе к стеклу, чтобы в сумерках даже в прозрачных капельках нельзя было увидеть буквы, сообщавшие о его скверном настрое. Это было еще хуже, чем если бы он стащил банный халат. Он сбежал. На следующий день новый съемщик потянет за занавеску и отправится прямехонько к черту.

ДЕВУШКА ИЗ СОСЕДНЕЙ КВАРТИРЫ

76

Она была из старинной итальянской семьи, обе наследницы которой, визжа, вдрызг разругались. В квартире за стеной все переменялось. После небольшого ремонта постелили палас, потом доставили пианино. В этом доме уже стояло пианино, на котором чаще всего играли пожилые люди: в один и тот же час после полудня старое пианино повторяло одинаковую мелодичную последовательность песенок и вальсов. Вместо того чтобы раздражать, эти повторы, наоборот, волновали меня, каждый раз все сильнее: я не знал, кто играет, не пытался узнать, представлял себе некую даму; однажды, поднимаясь по лестнице, я остановился на площадке четвертого этажа, на пианино играли за дверью слева, но я не пытался связать свое волнение с чьим-либо лицом, воспользовавшись именами жильцов, указанными у входа. Я чувствовал в мелодиях, различных двумя этажами выше, упорность гребца, идущего против волн. Я ощущал, что в настойчивости воспроизведения в одном и том же порядке одного и того же музыкального ряда было что-то решительно важное: оно рождалось из воспоминаний, сберегало существование. Женские пальцы, бывшие каждый день по клавишам со все нарастающим темпом, восхваляли память. Однажды пианино умолкло.

Девушка поселилась в соседней квартире: я заметил ее за приоткрытой дверью вместе с женщиной постарше, вероятно, матерью, которую потом больше не видел. Я подумал: буржуазная дамочка из провинции, перевезла дочку учиться в Париж. Каждое утро девушка играла на пианино, начинала с гаммы, потом переходила к более сложным упражнениям, сбивалась, начинала снова, вновь спотыкалась, ее оплошности были чудесны. Нас разделяла только стена, заставленная книжными полками: со своей стороны я писал за повернутым к окну письменным столом, печатал на машинке. Железному шуму – от клацаний пальцев по машинке моего деда, над которой я упорствовал, презрев комфорт, дабы она продолжала существовать, и любовно пребывал рядом с нею во время ее агонии, – отвечал гром отважных нот соседки. Два шума как бы служили друг другу спутниками жизни, что так близки и делают вид, словно не знают друг друга, у них для отговорок есть сень стены, и души их держатся за руки. К середине упражнений соседки неизменно возвращалась одна особо печальная мелодия, которая настолько меня впечатляла, что я прекращал печатать на машинке и вслушивался, рискуя обнаружить свое волнение.

77

Три года тому назад один институт попросил меня создать произведение в области аудиовизуального искусства, поскольку я принадлежу к тем, кто одновременно и пишет, и делает фотоснимки. Мою работу должны были показать летней ночью на Аренах Арля. Теперь я понимаю, что уже наступил закат, как говорят про старых художников, моего фотографического мастерства. Я уже не фотографировал больше ни друзей, ни тех, кто меня

привлекал, дабы хотя бы таким образом недолго обладать ими, я уже как будто забросил фотографирование. Я был уже умирающим фотографом, во всяком случае, парализованным. Но карусель круживших по квартире бликов побуждала меня вернуться к тому, что я оставил. Я был столь благодарен за их благотворное действие, что решил запечатлеть их, дабы от этих пересветов остался какой-то след. Поколебавшись, я предложил работу о собственной квартире. А какое будет, кроме моего голоса, звуковое сопровождение? Почти никакого, звуковая атмосфера квартиры, ее тишина, шум печатающей машинки, которому вторили первые прикосновения соседки к клавишам пианино. Их можно было бы, сказали мне, легко воссоздать с помощью уже существующих записей. Нет, я хотел, чтобы это были достоверные звуки. А нельзя ли, чтобы их записать, попросить соседку прийти на студию? Ни в коем случае, я бы никогда не осмелился попросить ее об этом, я не хотел, чтобы она была в курсе проекта. Я потребовал высокочувствительный звукозаписывающий аппарат, заставил подробно объяснить, как он работает, и, дабы быть уверенным, что не случится осечек, попросил специалиста предварительно его настроить, указав ему точное расстояние между стеной и столом, с учетом глубины полка с книгами. Мне вручили магнитофон в пластиковом пакете, я должен был просто вернуть его через три дня, никаких препятствий не было, соседка играла каждое утро. Выходя из студии, где я начал записывать отрывки из дневника о моих занятиях в квартире, так или иначе связанных с соседкой, я столкнулся с ней на улице, держа в руках пакет с охотившимся на нее устройством, я никогда не встречал ее так далеко от нашего

дома, мы поздоровались, она покраснела, мы никогда не обменивались иными словами, кроме простых «Добрый день. – Добрый вечер». Но мы знали практически все о жизни друг друга: перегородки были такие тонкие, телефонные разговоры были слышны, мы оба жили в одиночестве, и от того наши редкие гости становились более заметны и поджидаемы. Когда девушка исчезла из вида, я склонился над пластиковым пакетом, дабы удостовериться, что он не прозрачный.

79

Вернувшись домой, я незамедлительно установил и подключил аппарат, приставив его поближе к стене. Девушка другой дорогой тоже вернулась домой, я слышал ее шаги. Она еще не играла этим утром, она отсутствовала столько же, сколько и я. Я ждал. Чтобы заставить ее играть, печатал впускую на пишущей машинке бессмысленные фразы и потом бесшумно комкал листки. Она не играла. Меня это не беспокоило: она будет играть завтра. В ожидании, я рано поднялся и быстро спустился на улицу, чтобы позавтракать и вернуться к моменту, когда она набросится на гаммы. Ничего не происходило. Тем не менее, я продолжал ждать. Чувствовала ли она, что я сижу в засаде, держа палец на кнопке, словно охотник, притаившийся на пути жертвы? Неужели шум печатной машинки оказался до такой степени лживым? Мои перемещения незаметно превратились в очень тихие, неразличимые, и это меня выдало? Я включил магнитофон, нажав одновременно обе кнопки как можно тише, и подчеркнуто продемонстрировал, что ухожу из квартиры, уронив на лестничной площадке ключи, поднял их, ругаясь, и повернул в замках ровно столько раз, сколько обычно, нервно нарезал круг возле дома, другой, третий,

поднялся украдкой, на лестнице не слышалось никакой мелодии, по шуму я определил, что девушка дома, я подбежал к аппарату, тихонько его остановил и, словно вор, унес в спальню, закрыв за собой дверь, чтобы прослушать запись. Ничего не записалось. Оставался лишь один день.

На следующий день она тоже не играла. Отчаявшись, я напрасно ждал. Я закрылся в спальне, чтобы позвонить технику и предупредить, что не смог сделать запись: должен ли я вернуть аппарат, как договаривались, или могу поддержать у себя еще день или два, не теряя надежды? Ответа я не дождался: я услышал, что соседка играет на пианино, быстро повесил трубку и с облегчением нажал кнопки стоящего на столе аппарата. Она играла, ура! И с той же неловкостью, теми же оплошностями, теми же повторами, какое чудо! Я ждал того самого места. И вот она его играла, Боже мой, как оно было прекрасно! И я записал его, записал эту печаль. Я поспешил убрать аппарат в пакет и помчался с сокровищем в институт.

Техник надел наушники, чтобы его прослушать. По недовольной гримасе я сразу понял, что что-то не так, он снял наушники и сказал: это невозможно слушать, все слишком расплывчато, я предупреждал, вы думаете, что в квартире тихо, потому что привыкли к ней, слух по-разному воспринимает шум внешний и те незаметные звуки, что вы производите сами или нарочно пытаетесь уловить, а машина не способна на работу, которую делает слух; единственное решение – дать запись профессиональному пианисту, чтобы он воспроизвел нужный кусок, имитируя сбой. Я отказался. Решил, наконец, поговорить с сосед-

кой. Я попросил, чтобы ей заплатили за работу: ей надо будет прийти в студию записать тот музыкальный фрагмент. Несколько дней я колебался, а потом решился и позвонил в звонок. Приотворив дверь, она извинилась, ей нужно было одеться, затем через несколько секунд она вернулась, по-прежнему краснея. Я рассказал о своем предложении, она ответила, что ей нужно подумать. На следующий день она постучала в дверь, дабы торжественно объявить, что она согласна. С этого момента моя жизнь превратилась в ад. Она играла фрагмент с утра до вечера, зубрила его, занималась с преподавателем дополнительные часы, посвященные единственному куску, тот понемногу становился лучше, сводя на нет все мое волнение, через сорок восемь часов он был совершенен, изуродован совершенством, я его ненавидел.

81

Я не мог помешать девушке прийти в студию вместе с преподавателем. Она играла с гордостью. Я попытался объяснить, чего именно желал, она ответила: если я правильно понимаю, вы просите меня играть плохо? Она обиделась, подумала что я над ней подшучиваю. Ее чересчур нарочитые оплошности были хуже непопадания в ноты: они били по моему чувству мелодии. Но в студии, используя разные записи, вместе с техниками с горем пополам мы могли более-менее воссоздать то, что требовалось. И этой июльской ночью, чувствуя комок в горле, пока на Аренах Арля по экрану скользили картинки, я вновь услышал, как играет соседка. Может, она приехала тайно?

По возвращении я нашел в почтовом ящике ее записку: с видом теплого участия, вуалирующим ледяную холодность, она выражала надежду,

что вечер прошел хорошо. Когда же вернулась она, я подумал, что она стала скрытной, понял, что она меня избегает, а однажды на улице мне показалось даже, что она уставилась на меня с ненавистью. Тем не менее, мы по-прежнему все друг о друге знали. Но в этом было что-то новое, неприятное, непоправимое: она более не играла на пианино. Она больше никогда на нем не играла, лишь один раз. В одно прекрасное утро я снова услышал мелодию, она снова была со мною, неожиданная, по-прежнему несравненная в своей грусти, словно, пока девушки не было, ее играл призрак: от избытка чувств я был готов целовать стену, за которой она звучала. Но то было лишь обозначение ее ухода. Девушка, что живет по соседству, мне нравится, и этот текст – единственный способ сказать ей об этом.

ЛИМОННОЕ ДЕРЕВО¹

83

Я восхищался изящной мощью его рук тайком. Я никогда их не гладил. Иногда я их грубо, быстро пожимал, как свой парень. Дружеские объятия становились более частыми, когда мы без остановки выпивали множество кружек пива, мы устраивали соревнования, нам доводилось, сидя бок о бок, опрокидывать штук по восемь, пока Боб растерянно глядел на нас, он пользовался предлогом, что беден, чтобы покупать себе выпивку, он не мог оплатить нам в долг семнадцатую и восемнадцатую кружки, и Жано, официант, нам отказал. Жано был старый чудак; когда его окликали из другого конца зала, он вопил: «Снимай штаны, я сейчас подойду!», это была его любимая шутка, с девочками он разговаривал почтительнее. Что до девочек, то мы поглядывали на них лишь в зеркало и до тех пор, пока они не замечали, Боб мастак отводить взгляд *in extremis*, он клал сигарету, чтобы она не упала, говорил, что из-за пива у нас стеклянный и даже мерзкий взгляд. Нам было хорошо от пива. Боб ушел на лекции раньше, он был странным, он поминутно бросал нас без объяснений: вероятно, чувствовал, что его мордашка девственника вызывала у нас после четвертой кружки желание делать ему больно, врать, втягивать в грязные

¹ Сюжет рассказа использован в пьесе Эрве Гибера «Лети, дракон!»

делишки, он был наивным. Мы уже не годились для занятий по географии, так что лучше уж прогулять. Поддев рукой дно бумажного стаканчика, Систу заставил его выполнить рискованный тройной прыжок, затем мы опустошили карманы, вытаскивая монеты, а Жано собирал их в ладошку, говоря, что заведение не предоставляет кредитов такой пьяни. Жано не стеснялся теребить руку Франсиса, он так прославился своими шутками, что никто бы не заподозрил его в гомосексуальности. Я же дрожал от страха, что мой Систу догадается о моем влечении. Когда я был столь пьян, я засовывал руки поглубже в карманы. Но Систу был таким нежным, однажды, выйдя из кафе, он стал тереться лбом о мое плечо, он отвешивал мне пинки по заднице, делал вид, что толкает меня в овраг, чтобы потом подхватить руками. Порой я говорил себе, что он все понял и бес игрока тянет его поближе ко мне, словно он моя тень или близнец.

Я обратил внимание, сколь великолепны его руки, когда он во время баскетбола сломал запястье. В гипсовом браслете его левая рука превратилась в женщину, лишившуюся сознания, доступную. Мой взгляд обладал ею. Паралич наделял ее женской беспечностью и легкостью, но при этом не лишал ни мощи, ни отливающей синим цветом венозных прожилок крепости, а баюкал эту уснувшую, непорочную красоту под наркозом, сражавшуюся против снотворного, отыскивая надежную поддержку или непрочные глубокие карманы, дабы изнеженность не обнаружилась в кисти крестьянина. Боб отказался написать пару слов на гипсе, утверждая, будто это так же опасно, как и переливание крови. Я же не заставил себя упрашивать и бодро надписал зелеными чернилами

ми: «Моему доброму старому Систу, с надеждой, что рука весьма скоро сможет оказывать ему привычные услуги». Я продолжал бахвалиться, но лицемерил: мне вовсе не хотелось, чтобы его рука освободилась от футляра или тисков.

Прошло много месяцев. Систу ураганом ворвался ко мне в спальню, мертвенно бледный, весь мокрый от пота, пряча за спиной руку, он запинался:

85

– Карга... в переходе... чокнутая старуха... которая орет как сумасшедшая, когда только увидит, что я подхожу к турникету... будто я шелудивый пес... чертов прихвостень... нам нужно было вести счеты, мне с этой старой девой... так что я приготовил ей сюрприз, собственного производства... красивый такой фейерверк, чтобы подновить ее будку, а то та стала облупляться, как и она сама... можно было не ломать голову: хорошенькая, в два-три пальца, петарда с длинным фитилем не могла никого поранить... я же не собирался совать ей мою гранату между ног, чтобы она избавилась от своей вонючей девственности... не, всего лишь небольшая разрядка для сердца... но припадок случился не с ней, а со мной... а шлюха забрала себе мою руку... мне оторвало руку, а старая гримза сидела и лыбилась в окошке, и я видел, что она смотрит, как мои пальцы разлетаются в стороны, мне было так стыдно... я удрал... но сначала отыскал пальцы... их было два... рука превратилась в месиво, но три еще держались, не совсем вместе, но держались, они дергались сами по себе, и я говорил им, чтобы они перестали...

– Не ври, покажи мне руку.

Несколько мгновений я боялся, что он прячет оружие и будет сейчас угрожать.

– Да, я немного приврал... Старуха ничего не видела... И это хуже всего... Она не видела, как мои пальцы летят в разные стороны, это даже не станет ее кошмаром... Ей не надо будет пытаться забыть о них... Я не дошел до нее, мне не удалось отомстить, и теперь стыдно... Я был один в сарае, мастерил снаряд... Пальцы упали на стружки, даже не в траву... Еще живая плоть, облепленная опилками, это омерзительно... я их подобрал, пошел помыть на улице, под колонкой, никто меня не видел, а потом вернулся в мастерскую, чтобы найти газету и сделать сверток, у меня уже появилась идея, но прежде я вытер оба пальца платком, они стали холодными от воды, и я долго на них дул, они больше не хотели отогреваться, мерзавцы...

– Но что ты с ними сделал, что ты сделал с этими пальцами?

– Успокойся, Люлю. И никогда не рассказывай об этой истории. Это между нами. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я с ними сделал.

– Тогда Расскажи, Расскажи...

– Ладно, я сделал маленький сверток: из платка получился саван, ты ведь знаешь, что мусульмане полностью укутываются простынями, и потом они... Я пошел в лес...

– Так пойдем же туда, Систу, пойдем туда сейчас же! Ты должен меня туда отвести! Умоляю тебя!

– И что мы будем там делать, Люлю? Зачем так волноваться? Для меня все это уже давняя история. У меня остается еще восемь штук. Этого вполне достаточно, чтобы прочить, и еще больше, чем надо, чтобы засунуть в дыру у шлюхи... А двух, которых больше нет, представляешь, – тут вот, под повязкой видно, что чего-то не хватает посередине, – так вот, я по-прежнему чувствую их, мне приятно от этих непривычных покалываний...

– В какой из двух лесов ты ходил?

– В тот, где мы вечно блуждаем...

Мне удалось убедить Систу отвести меня. Оказавшись там, я с нетерпением спросил:

– Где это было?

– Вот тут... Я уже не вполне помню...

– Ты не узнаешь места?

– Нет, не совсем, тут везде все почти одинаково...

– Но где ты их закопал, ты вообще не помнишь?

87

– Я пытался рыть землю под столькими папоротниками...

Я начал терять голову:

– Папоротниками? Здесь повсюду одни только папоротники! Может, ты помнишь какие-нибудь приметы? Скрещивающиеся тропинки, какой-нибудь крестик, дерево, что угодно?

Систу разозлился:

– Пойдем уже! Нехрена больше тут делать...

– Нет, подожди! Сейчас найдем! Под папоротниками? Это не так сложно... Сейчас найдем...

– Не знаю, зачем я с тобой пошел...

У меня появилось дурное предчувствие:

– Ты ведь мне не наврал? Ты ведь их не сжег?

Но Систу был где-то далеко. Внезапно он, кажется, вспомнил:

– Лимонное дерево... Я закопал их под лимонным деревом...

Он тронулся из-за взрыва рассудком? Или он надо мной издевался? Я опасался грубить ему.

– Лимонное дерево, здесь? Ты уверен... лимонное дерево?

Но ему не приснилось. Пятью минутами позже мы оба стояли на карачках возле лимонного дерева, как если б оно выросло у нас прямо под ногами. Я рыл землю, я был так рад:

– Если сейчас не найдем, вернемся! Вернемся ночью! Будем возвращаться каждый день, пока не найдем их!

Систу выглядел встревоженно:

– Что ты хочешь сотворить с моими пальцами?

Но я уже его не слушал. Я копался, стоя на четвереньках, вырывал и выкидывал стебли:

– Думаешь, с этой стороны или вот с этой?

– Скорее, тут, – ответил Систу.

Он уже не знал.

– Здесь? Подожди... Я нашел, вот они... Я нашел!

Я только что достал из земли небольшой сверток, полный земли. Систу дрожал. Я протянул ему сверток:

– Развяжи его, сам.

– Нет, давай ты. Я не смогу больше к нему прикоснуться. Ты меня пугаешь.

Я содрал газетную бумагу, потом развязал узлы на платке, я был в экстазе:

– Какое чудо! Сокровище!

Систу гримасничал:

– Они уже коричневые, все мокрые, сморщенные, мерзость какая, брось! На что они нужны?..

Я схватил один палец, засунул себе в рот и стал жевать.

Систу бросился на меня и начал трясти:

– Выплюнь сейчас же! Ты отравишься!

Это было выше его разума, я торопился проглотить палец, грубо его оттолкнул:

– Уходи! Оставь меня! Это больше тебя не касается...

Мы дрались. Когда палец полностью прошел по моему горлу, я почувствовал, как меня охватывает покой. Систу ослабил хватку, худшее для него уже состоялось. Ему стало весело. Он пошел

забрать платок с оставшимся пальцем и спрятал его в кармане:

– А вот этот вот, – завопил он, – я не позволю тебе съесть, эдакий ты обжора! Или же... тебе надо будет в самом деле его заслужить!

Он танцевал вокруг меня, чтобы раззадорить. Я кинулся к его карману. Мы переругивались, как дети. Систу радостно захохотал:

– Он чокнутый! Я люблю тебя! Ты чокнутый!

Он отталкивал меня и при этом быстро, заискивая, целовал мне голову. Я чувствовал во рту его мерзкий вкус и слышал, как он говорит, что любит меня. Он был во мне, мне больше нечего было ему сказать.

СОДЕРЖАНИЕ

Мальва-девственник, 6
Аускультация, 19
Мэме Нибар, 25
Волшебная бумага, 32
Голова Жанны д'Арк, 47
Тайны одного человека, 58
Землетрясение, 65
Три четверти мира, 69
Девушка из соседней квартиры, 76
Лимонное дерево, 83

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

**Эрве Гибер
БЕЗ УМА ОТ ВЕНСАНА**

В 1989 году Эрве Гибер опубликовал записи из своего дневника, посвященные Венсану – юноше, который впервые появляется на страницах книги «Путешествие с двумя детьми». «Что это было? Страсть? Любовь? Эротическое наваждение? Или одна из моих выдумок?»

**Эрве Гибер
ПРИЧУДЫ АРТУРА**

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

**Эрве Гибер
ГАНГСТЕРЫ**

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

**Эрве Гибер
ОДИНОКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ**

Книга о встречах и путешествиях, о желании и отвращении, о кошмарах любовного воздержания, которое иногда возбуждает больше, чем утоление страсти.

**Франсуа Сантен
УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ**

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920-2010) рассказывает запутанную историю казненного в 1939 убийцы Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

**Жиль Себан
ДОМОДОССОЛА**

Жизнь Жана Жене напоминает комическую сценку, душераздирающую и наводящую ужас, – что-то вроде циркового номера, по окончании которого клоуны выходят за ограду шапито, влезают в автофургон и с фатальным лязгом захлопывают двери, а затем, даже не сняв грим, нажимают на курок и вышибают себе мозги.

**Гертруда Стайн
АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО**

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». «Автобиография каждого» вышла в 1937 году и прежде не переводилась на русский язык.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Джеймс Парди
Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немомого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

Пьер Гийота
ВОСПИТАНИЕ

Первые 13 лет жизни, 1940-1953: оккупация, освобождение, обретение веры в Христа, желание стать священником и спор с Богом, позволившим гибель в концлагере юного Юбера, над головой которого годовалый Пьер Гийота видел нимб.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Марсель Жуандо
ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА

Великие вещи, которые происходят во мне, – очень маленькие. Если бы о них узнали, меня задушили бы между двумя матрасами, как тех, кого покусала бешеная собака. Но до тех пор, пока только я один знаю о своем душевном смятении, я еще не полностью потерянный человек.

Габриэль Витткоп
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПАДАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

Габриэль Витткоп (1920-2002) говорила то, что думала, жила, как хотела, и умерла, как сочла нужным: приняв цианистый калий за два дня до Рождества – праздника, который она презирала. Холодные, мизантропические и блистательные книги Витткоп ее биограф сравнил с чудесным ядовитым цветком. Опубликованный посмертно роман «Каждый день – падающее дерево» – это портрет двойника автора, надменной и безжалостной Ипполиты, вспоминающей свою жизнь, озаренную гордым пламенем презрения к человечеству.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

**Габриэль Витткоп
ВЕЧНЫЙ АЛЬМАНАХ ГАРПИЙ**

Гарпии вездесущи и всегда настороже, так что нам от них не ускользнуть. Ключ к разгадке кроется в их имени – «похитительницы», «воровки». Непрестанно меняясь из века в век, они принимают все новые, непривычные обличья, перетекающие одно в другое в вечном движении, похожем на волнение моря, где они и зародились. Они стары, как небо, и стары, как смерть. Если вам снится, что вы едите печень гарпии, вы скоро умрете.

**Хуан Гойтисоло
ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ**

Хуан Гойтисоло (р.1931) – самый знаменитый испанский прозаик послевоенного поколения. «Перед занавесом» – его прощальная книга: размышления о времени и смерти, которая скрывается в Атласских горах Марокко, где живет писатель. Гойтисоло всегда был в центре политических битв и, как и его друг Жан Жене, поддерживал угнетенных. Он боролся с режимом Франко, против «всех разновидностей фундаментализма и национализма», а после поездки в Чечню стал одним из самых влиятельных в Европе сторонников чеченского сопротивления. Войну на Кавказе он вспоминает и в книге «Перед занавесом».

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» ул. Большая Молчановка, д. 18
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo» Таганская ул., 31/22

в *Санкт-Петербурге*:

«Порядок слов» Наб. Фонтанки, 15
«Все свободны» Наб. Мойки, 28, второй двор
«Буквоед» Невский пр., д.46

через *Интернет*:

«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на *Украине*:

«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж обращаться
в ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте mitin.com

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Перевод Алексея Воинова

Kolonna Publications

Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301

Подписано в печать 15.09.2014. Тираж 500 экз. Заказ № 035.

Формат 70 x 100/32. Объем 3 п.л. Гарнитура itc Charter

Отпечатано в типографии сети пищевых салонов «Всё-В-Достатке»
института зависимости количества потребления твердого сыра
и приступов мигрени слепыми печатниками книг и брошюр,
владельцами собак-второгодников, русскими, верящими в случайность
и танцующими урбанистами, противниками продолжительных
отношений. Если вы все еще это читаете – вот адрес: Ленинградская обл.,
Зеленогорский р-н, пос. Васкелово, ул. Жаба, дом Быта, комн. Матери-
и-Ребенка, Живой Уголок, 5.